

1 руб 50 коп
Индекс 73607

ISSN 0130-217X

Кубань

5 1991



Май
1991

Издается с 1945 г.

Кубань

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ —
ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
И КОЛЛЕКТИВА РЕДАКЦИИ

Содержание

СВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ	2	Николай Кондратенко. Час выбора.
ПРОЗА	8	Иван Сочневич. Россия в концлагере. Продолжение
	20	Петр Краснов. От Двуглавого Орла к Красному Зна- мени. Продолжение
	33	Александр Педан. Колода. Рассказ
ПОЭЗИЯ	7	Иван Варава. Сабля атамана Чепиги. Казанская дума. Стихи
	19	Валерий Хатюнин. "Распятие на звезде.." Стихи
	19	Владимир Карпец. "На размокшую землю, прощаясь, положишь ладони...". Молитва. Стихи
НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ	37	Григорий Василенко. Случайные встречи. Окончание
СУДЬБЫ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА	45	Гивриил Солодухин. Жизнь и судьба одного казака. Окончание
ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА	52	Михаил Меньшиков. Шейлок и Джессика. Из "Писем к близким"
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ	64	Даниил Скобцов. Три года революции и гражданской войны на Кубани. Продолжение
РОССИЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ	75	Семен Франк. Крушение кумиров. Продолжение
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ	85	Снопские протоколы. Продолжение
СВОБОДНАЯ ТРИБУНА	58	Валерий Родиков. Кто командует парадом?
	91	Георгий Соловьев. Торжище фальши

Николай КОНДРАТЕНКО,
народный депутат СССР, председатель
Краснодарского краевого Совета народных депутатов.

ЧАС ВЫБОРА

Тотальный кризис, охвативший все сферы нашего общества, принял последние угрожающие размеры и практически привел страну к национальной катастрофе. Сегодня уже вряд ли у кого возникнет сомнение в том, что это шестилетнее пустословие с больших и малых трибун о построении гуманистического демократического социализма и правового государства, о радикальной экономической реформе, региональном хозяйстве и других многообещающих шагах перестройки есть не что иное, как ложь и лицемерие, в очередной раз заведшие наш народ в трагический тупик.

И самое странное в этой ситуации то, что из самых верхних эшелонов власти постоянно идут заверения в том, что все эти трудности — временные, что мы идем правильным путем построения социализма в его ленинском понимании и с него ни в коем случае не свернем.

Из уст Президента и его очередной команды мы слышим о реформировании нашей экономики, получаем нескончаемое количество различных концепций, программ, разработок, моделей. На деле же они лопаются со скоростью мыльных пузырей, способствуют развалу народного хозяйства страны, спаду производства, всеобщему товарному дефициту.

Из уст Президента мы слышим заверения о надежной социальной защите населения и особенно его малоимущих слоев, о милосердии, а в жизни видим все более ускоряющийся процесс обнищания миллионов рабочих, крестьян, интеллигенции, студентов, пенсионеров, многодетных семей при одновременном обогащении разного рода дельцов и жуликов, которых нам выдают за спасителей нации, предпринимателей нового типа и столпов будущей отечественной экономики.

Из уст Президента мы слышим о свободе слова, плюрализме, а в действительности получаем оголтелое очернительство нашей истории, пропаганду антикоммунизма и национализма, мелкобуржуазных ценностей жизни, элементарное хамство и бескультурье, порнографическую печать и с экранов телевизоров.

Из уст Президента мы слышим об укреплении обороноспособности страны, а на деле видим неслыханный черный напор на наши Вооруженные Силы, разрушение оборонного комплекса под видом конверсии, падение престижа профессии защитника Родины, словом, подрыв одного из основных устоев государства. И это в обстановке, когда планета полна неожиданностей.

Из уст Президента мы слышим заверения о том, что наше общество твердо встало на путь построения правового государства, а на практике видим сотни тысяч беженцев, нескончаемые людские страдания и жертвы, изгнание из мест проживания — и это уже не в сталинские времена — целых народов и этносов.

С какими же чувствами воспринимает Михаил Сергеевич телевизионные кадры о безжалостном глумлении боевиков-уголовников над беззащитными стариками, женщинами и детьми?

Из уст Президента мы узнаем о прорыве в международных делах, о достигнутых здесь крупных успехах, а в действительности видим явное падение авторитета нашего государства как равного партнера в разрешении международных конфликтов и определении мировой политики. В русле нового мышления мы даже умудрились сдать НАТО Германскую Демократическую Республику вместе с новыми советскими танками Т-72 и самолетами МИГ-29, которыми теперь ФРГ торгует у наших южных границ. Кстати, на территории края на вооружении практически еще нет таких танков. Можно и нужно согласиться с нашим уходом из Восточной Европы, но почему та сторона не уходит от наших границ и из Западной Европы?

К сожалению, не вселяют надежды первые шаги и российского руководства. Прошедший год его деятельности был ознаменован острой политической борьбой, и в значительно меньшей степени проявлялась забота о сдерживании экономического спада, снижении уровня жизни народа.

В числе других этому есть, на наш взгляд, и политическое объяснение. Оно состоит в том, что бывшие советодатели Президента, эти неутомимые "прорабы перестройки" — Арбатов, Заславская, Бунич, Шмелев, Тихонов и другие яркие представители академической когорты, их новая смена — Попов, Собчак, Старовойтова и им подобные — теперь уже плотно окружили российского лидера в раи членов Высшего консультативно-координационного совета и навязывают ему ту же разрушительную для нашего Отечества политику.

Эти хорошо спаянные представители кастовой элиты, в число которых следует отнести тщательно оберегаемых руководством страны Яковлева, Медведева, Примакова, Абалкина, Шаталина и других, еще вчера выступавших в качестве непре-

рекаемых авторитетов-теоретиков и вдохновенных певцов эпохи волюнтаризма, затем застоя и стагнации, одурачив народ, в очередной раз перелицевались — теперь уже в демократов — и дружно описывают то, чему недавно призывали людей верить.

Возникает законный вопрос — неужели все происходящее сегодня в стране можно назвать перестройкой и новым мышлением? Ведь уже дошло до того, что перед каждым из нас вплотную встала проблема элементарного выживания и защиты не только от голода, но и от бандитского погрома!

И в этом нет никакого преувеличения, попытки разжечь страсти. Страну охватил неслыханный разгул преступности, причем уже в годы перестройки появились новые ее виды, о которых мы знаем лишь понаслышке — рэкет, сутенерство, теневая экономика, цеховики и биржевники, угонщики самолетов и многое другое, что стало неотъемлемой реальностью наших дней.

Такого наглого, беспардонного и жестокого наступления преступного мира, которое угрожает существованию и самому государству, в нашей истории еще не было.

Приведу лишь некоторые цифры по нашему краю. В 1946 году, сразу после окончания войны и накануне голода, было зарегистрировано 15,4 тыс. преступлений, в 1970 году — 21,2, в 1980 году — 37,5, в 1990 году — 62,3 тысячи преступлений.

Каковы же истоки и корни постоянного нарастания масштабов преступности? Искать их, несомненно, нужно и в экономике, идеологии и политике, социальной сфере, напрямую влияющая на происходящие здесь процессы с возникновением и расцветом криминальных зон и промислов.

Именно здесь кроется первоисточник того хаоса, в котором мы оказались и где правят бал "война за конов", а по сути, беззаконие, политическое, правовое, экономическое бескультурье, беззащитность граждан.

Обилие кабинетных, построенных на загадках и предположениях моделей и концепций, при отсутствии четкой экономической программы действий, в которую бы поверил и которую бы принял народ, уже привело к тому, что вместо рика мы получили уродливое нагромождение талонов, карточек, купонов и визиток. То есть, по сути дела, никак не можем вырваться из объятий все той же административной системы распределения.

Недавно Президент страны изложил очередную, теперь уже антикризисную программу. В ней, в частности, предусматривается: восстановить разрушенные хозяйственные святы, ужесточить дисциплину поставок по договорам, сделать многое другое, что активно уничтожалось все эти

шесть лет. Согласитесь, логики и здравого смысла здесь мало. Зачем, спрашивается, понадобилось сначала разрушать, а затем преодолевать трудности по восстановлению порушенного?

Мощным фактором, оказывающим воздействие на криминальные процессы, является политическая обстановка в стране, процарившиеся здесь безбрежный плюрализм и анархия.

Неуверенность людей в будущем, другие тенденции, связанные с разрушением установившейся идеологии, наступлением антикоммунизма, множеством различных создающихся и распадающихся, разделяющихся и вновь соединяющихся политических организаций, групп, течений, партий, ассоциаций, форумов, создают благоприятную обстановку для различного рода дельцов от политики и идеологии, жуликов всех мастей и лжедемократов.

Используя все средства воздействия на массы, формирования общественного мнения, и в первую очередь печать, радио, кино, телевидение, они насаждают в обществе культ жестокости и насилия, секса, рэкетирства, вседозволенности. На авансцену жизни выходит принцип — правдиво все то, что прибыльно. Он особенно губителен для подрастающего поколения, в сознание которого внедряются принципы буржуазной морали — корыстолюбие, соблазн легкого и быстрого обогащения и другие, что напрямую связано с необычайным ростом преступности: среди молодежи. И не случайно "помолодели" такие тяжкие виды преступлений, как бандитизм, рэкет, изнасилования, убийства.

Кто же выступает в роли скрытых ранее, а теперь уже явных политических агентов дирижеров этого губительного процесса? При всей кажущейся нестропе и запущенности вопроса ответ на него весьма прост — достаточно привести для нашего размышления цитату из книги Дугласа Рида "Спор о Сионе". Она гласит так:

"Чтобы забрать в руки общественное мнение, надо привести его в состояние полного разброда, дав возможность высказывать со всех сторон столько противоположных мнений, чтобы народ окончательно потерял голову в этом лабиринте, придя к заключению, что лучше всего не иметь мнения в политических вопросах, понять которые не дано обществу, ибо их понимают лишь те, кто управляет обществом."

И далее приводится такое наставление: "Нужно настолько умножить народные слабости, пороки и страсти, настолько распылить все установившиеся формы гражданского обществения, чтобы никто не мог в наступающем хаосе найти своего места, и люди в конечном итоге перестали бы понимать друг друга. Всем этим мы так истерзали народы, что они будут вынуждены передать нам власть."

Рид писал о сионизме — самом изощренном

политическом течении современности. На эту тему я уже высказывался не один раз. Но сегодня, давая характеристику политической обстановке, хотел бы остановиться на ней более подробно, и не только с целью показать взаимосвязи политических процессов и состояния преступности, но и для того, чтобы еще раз приковать внимание людей к этой теме.

Не исключаю, кто-то может спросить, причем здесь сионизм, если разговор о преступности, экономических проблемах и т. д.? Но верьте, она имеет с этим прямое отношение к обсуждаемому вопросу. И на сегодняшний день не ментать, а говорить о ней в публичном голос, ибо когда прольется кровь наших детей, — будет поздно; главное преступление конца XX столетия к тому времени уже свершится.

Проблема сионистской опасности — этой реальной угрозы для судьбы русского народа — практически замалчивается. Как раньше ничего нельзя было говорить против Сталина, так сегодня лучше молчать о сионизме. Обратите внимание, можно попросить все, что хотите и кого хотите, причем в самых разных изданных, и самой грубой форме. Идею коммунизма и имя Ленина, демократии и коммунистов, можно трясти и самого Президента. Но только одна тема — тема сионизма — это священное табу. Сюда не суйся. Цвет русской нации, писатели, художники — Чеховы, Бондарев, Белов, Лихоносен, Знаменский и другие — криком кричат о сионизме, признавая к нему беспомощность. Но молчит Президент, молчит "свободная" пресса. А ведь и слышана, и всенародно пропагандирует Сотеевщина и Аксенова, Буковский и Абрама Герца, Винограды и Иосифа Бродского. Но почему не хотим слышать других, удивленных и хорошо знакомых народу?

Рискованному сказать о сионизме тут же навешивается грязный ярлык антисемитизма, на него обрушивается желтая перестроечная пресса с обвинением во всех мыслимых и немыслимых грехах.

Еврей — это национальность. Представители этого народа в большинстве своем такие же талантливые, трудолюбивые, честные и порядочные люди, как и представители любого другого народа. И я преклоняю колени перед моими соратниками еврейского происхождения, которые настояли на моем выступлении по данному вопросу.

Сионизм — это политика. Политика Лая, хитрая, коварная, жестокая и опасная. Это то же самое, что немец — нация, фашизм — политика. Смещение политического и национального в этом вопросе как раз и означает разоблачение сионизма. И это тоже его тактика. К тому же сионизм может быть и русским.

Сделайте пожалуйста упоминутый и присвоенный выдержки из книги тактики захвата власти на нашу нынешнюю действительность, сравните

методы и способы достижения результата, и вы убедитесь в том, что процессы идут по давно намеченной и отработанной схеме.

Петрушко — гадать и о том, кто выступит в роли диктатора этого напористого, ослепительного движения. Достаточно только проанализировать состав руководящих лиц партии и государства, начиная с 1917 года, и сразу становится понятным, что и раньше среди советской истории от 70 до 90 процентов среди них были представители сионистской партии. И это на первых ролях, а можете себе представить их членство на второстепенных и третьестепенных постах! Вы, без сомнения, поймете всю глубину трагедии русского народа.

Обстановка не изменилась и в наши дни: представители этих кругов снова выступают в роли советодателей, разработчиков законов, бесчисленных программ, моделей, концепций, которые сама жизнь опровергает. И ничего удивительного в этом нет, ведь они действуют по заданной программе, о которой, к сожалению, не всякий знает. Прогнозирую лишь небопающую поддержку из своеобразного наставления, так называемого "Катехизиса":

"Больше шума и словесной мишуры, больше непонятного и двусмысленного, создавай теорию, гипотезы, направления, школы, методы, реальные и нереальные. Пусть не смущает нас, что они никому не нужны, пусть не смущает вас, что о них завтра забудут. Придет новый день, придут новые идеи. В этом выражается могущество нашего духа, в этом наше самоутверждение, в этом наше превосходство. Пусть русские ломают головы и поисках рациональных зерен в наших идеях, пусть ищут и находят то, чего там нет. Завтра мы дадим новую пиццу их примитивным мозгам".

Кое-кто спросит: где же искать этих самых сионистов? Конечно, не ищите их, унаследовав этот вопрос с какой-то определенной партией, ассоциацией, созданный вами. Они там, где идет борьба за власть. Вели борьбу за власть большевики — они были среди них, нынче рвутся к власти другие силы — они тоже здесь. Причем и в первом, и во втором случае пристраиваются по главе движения.

Называя себя и этот раз демократами, используя искусно созданные ими же самими трудности, эти антисоветские кураторы задались целью по (менее) перестройке построением совершенно чуждого нам строя, как их отцы и деды уже сделали это, подменив и дискредитировав социализм троцкистской моделью общества.

Они практически уже разложили тану экономику и культуру, подвергают народ неслабому моральному террору, калечат его историческую память и будущее. Эти люди тесно сожались с теневиками, коррумпированной верхушкой государственного и хозяйственного

аппарата, их поддерживают влиятельные зарубежные круги.

Нельзя не заметить, что эти силы хорошо организованы, быстро перегруппировываются. Фактически развалили Союз, они теперь с удвоенной силой взялись за Россию, которая во все века стояла, как копь в горле, у международного сионизма на пути к мировому господству.

Сегодня представители сионистской лжи играют по демократии. Но суть вопроса даже не в этом, а в том, что многие наши демократически настроенные соотечественники, поверив в искренности намерений организаторов своих движений, и не подозревают, что они стали жертвами очередного обмана.

Особую ставку на подмену сионизм делает сегодня на предателей от Компартии, покинувших ее ряды. Похоже, им хорошо известна психология предателя. Злыми были фашисты по время войны, но неслыханная злоба к соотечественникам была у предателей. Они и поныне: плюнув в колодезь, оторвавшись от своего берега, предатель ничего не остается делать, как плыть в холодное положение на тот берег, сменяя в злобе все и всех на своем пути.

Да, были и есть партия, но были и Троцкие, Свердловы, Каменевы, Зиновьевы, все до одного почтеннейшие фамилии, что стало впоследствии границей. Именно они небезуспешно разделили русского на красного и белого, ввергли народ в братоубийственную войну. Да и как было безразличному мужику и казаку разобраться в сюсюбавших разных цветов и оттенков? И сейчас, когда у нас пошла высшая образованность, это не всегда удается сделать.

Тема сионизма весьма животрепещущая — и не только для русского народа — давно и достаточно глубоко разработана разными авторами в разных странах, в разное время. Назову лишь некоторые работы.

И. И. Ленин: "Нужна ли "самостоятельная политическая партия" еврейскому пролетариату", "Положение Буца и партии", "Максимум беззащитности и минимум логики".

Книга группы авторов "Антикоммунизм и антисоветизм — профессия сионистов", Г. Бакапурский "Сионизация пудаизма", В. Белун "Получая контрреволюцию" и "Погорение без оружия", И. Бондарев "Критика сионизма в советской историографии" и его же "Сионизм на службе антикоммунизма", И. Волков, А. Сазонов "Критика реакционной идеологии и антисоветской пропаганды международного сионизма", Э. Володин, В. Попков "Правда о сионизме", Л. Востоков "Антипародная деятельность сионистов в России", В. Гуря "Сионизм против социализма и национально-освободительного движения", Е. Елисеев "Расизм под толгой двора" и его же "Антикоммунизм — основа содержания

сионистского расизма", "Из истории сионизма в царской России", "Сионизм и система антикоммунизма", Ю. Ильянов "Осторожно, сионизм!", А. Кислов "Белый дом и сионистское лобби", Т. Коновалов "Битва Берберские встречи", С. Крылов "Ганное оружие сионизма", А. Кузьмин "Сионизм: теория и практика", А. Малашко "Реакционная сущность сионизма", Е. Модрижская, В. Липский "Яд сионизма", Д. Рид "Спор о Сионе", "Протоколы сионских мудрецов", А. Романенко "Сионизм и мафия" и его же "О классовой сущности сионизма", С. Седел "Сионизм: ставка на террор", соавтор статей под руководством В. Весновского "Сионизм: правда и вымысел", Г. Соловьев "Лига фашиствующих сионистов", Е. Соловьев "Реакционная сущность сионизма", И. Шифаревич "Русофобия", А. Фейгин "Новая книга о сионизме", И. Ярославцев "В чем обвиняется сионизм" и др.

В. И. Ленин, многие еще не так давно цитируемый, и последние годы жизни обратил особое внимание на стратегические цели и задачи международного сионизма. Для того, чтобы мы могли совместно поразмышлять над "длостолетней" проблемой, открыв Катаго, изданный Всеобщей книжной палатой и Музеи-квартирой Ленина. Под номером 1806 на полке в кабинете вождя стоит книга "Всемирный тайный заговор", под номером 1812 — "Протоколы сионских мудрецов", под номером 1846 — "Гайный нож иудизма Андер Гиндберг", под номером 7714 — "Сионизм и мировая политика" и т. д. Работ много, и все они с пометками, основной смысл которых — призыв видеть проблему "вконец", так как любая сосредоточенность на "часном" приведет к опасным "заупыслительству" и "манипуляциям".

Однако сейчас кое-кому И. И. Ленин стал не по нутру, "черный" начался и на него. В таком случае сошлюсь на мнение человека, которого ни при каких обстоятельствах мои союзники не позавидуют. Человек этот — Роберт Дэвид, израильский публицист. Вот что он пишет в "Советской России" от 16 мая с. г. в статье "Пока не побит кин", характеризующую ситуацию на Юге нашей страны: "... в случае победы лагеря Старовойтовой, Пушкина, Малыгина и прочих клин между Россией и мусульманским Югом будет бит. А это — давняя мечта всех врагов России, и в частности сионистов. Последним это нужно из своих соображений..."

Если продолжить эту тему применительно к нашим местным мотивам, то следует напомнить, что у истоков раскачивания, организации голода на Кубани стояли все те же сионистские силы, действующие от имени партии большевиков. Как известно, начало уничтожению казачества положила пресловутая директива, подписанная в январе 1919 года Свердловым и подписанная в жизнь троцкистами.

Дорого обошелся нам и приезд на Кубань Кагаиовича — организатора голода. Записанные на "черные доски", вымирали целыми станицами и стар, и млад... И осуществлять этот кровавый террор он мог без всякой опаски, так как всюду были верные по духу помощники — те же Ягода, Ежов, начальник главного управления лагерей и поселений ОГПУ Бермаи, его заместитель Раппопорт, начальник Беломорских лагерей Коган, начальник лагерей Северной области Финкельштейн, начальник главного управления тюрем Апстер, другие соратники. А всего среди начальников тюрем и лагерей в то время 95 процентов составляли представители сионократии.

Жители станицы Пашковской вспоминают о том времени — "людей полегло, как на фронте... Кагаиович приехал, как Мамай прошел, а сейчас ни гу-гу, словно не люди — собаки какие поехали. Когда вы всю правду говорить начнете!"

Представляю, какой был крик и гвалт поднялся, будь на месте Кагаиовича Семен Буденный или Клим Ворошилов!

А ведь именно этим незаурядным компрачкосом сионократии во время приезда на Кубань осенью 1932 года была создана обстановка "борьбы с саботажем". Именно он на заседании бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) "со всей большевистской прямотой" вскрыл недостатки, показал ошибки большевиков Северного Кавказа, разоблачил перед коммунистами приемы классовых врагов, показал их маневр, разоблачил

слонтяев, коммунистических "шляп", указал на предателей и изменников партии".

Глубже вы этот процесс прочувствуете, подчитаете убытки, если изучите историю станиц Красноармейской (бывшей Полтавской), Ленинградской (ранее Уманской), Советской (бывшей Урупской) и других.

В ноябре 1975 года Генеральная ассамблея ООН в резолюции 3379 осудила сионизм, как форму расизма и расовой дискриминации. Его связывают также с претензиями на мировое господство. Носителями и вдохновителями этой идеи являются сионократы, в число которых входят не только сионисты, просионисты и подкупленные хриstopродавцы Отечества, но и обманутые люди, не разобравшиеся в сути событий и явлений и искренне поверившие их демагогическим лозунгам.

Говорю все это, чтобы достучаться до разум и сердца каждого россиянина, чтобы еще раз не повторилась в стране братоубийственная трагедия, которую в третий раз в одном столетии русский народ просто не вынесет. А если она произойдет, то всю ответственность за нее перед народом и историей должно нести нынешнее руководство страны и России.

Не уйти от суда грядущих поколений и нам, если не будем бороться против этого мерзкого челоуконенавистнического политического течения, займем пассивную позицию, предадим свой народ. Стать на пути этой большой беды — наш священный патриотический долг.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

"Уважаемая редакция! Спасибо за мужественные, смелые, архиважные разоблачительные статьи во имя спасения России, многострадального народа от самой страшной для всего мира сионистской чумы.

Казачество должно стать грозным авангардом, оплотом, защитой Отечества и народа..."

М. И. Тонкина и А. Г. Гапоненко, г. Якутск

"Сердечная Вам благодарность за объективные и откровенные статьи, выражающие патриотические чувства большинства народа, и не только Кубани, но и всей России. Напрасны потуги тех двухфамильных фарисеев, которые пытаются обвинить Ваш журнал в великорусском шовинизме. Напротив, не вы, а именно они зовут к национально-исключительности и превосходству над всеми народами, выдавая сионизм всего-навсего за национально-освободительное и религиозное движение еврейского народа. Именно они, боясь разоблачения, "душат" патриотические издания,

срывают подписку на них. В частности, у нас в Грозном было невозможно подписаться на "Кубань", подписался полуофициально, по блату, через землячку в Краснодаре..."

А. Т. Лисица, г. Грозный

"... ошибочно было бы полагать, что сионисты проинкли и захватили все сферы общества. Это далеко не так. Уверен, что никто не найдет сионистов среди простых тружеников, чего нельзя сказать об ученых кругах. Здесь для сионократии очень удобное место. Может, поэтому оттуда чаще всего и несутся голоса, что опасности сионизма нет. Но какая тогда необходимость защищать то, чего нет?!

Это заставляет вспомнить про осеннее гнездо и русскую посявицу: "на воре шапка горит".

С уважением ко всем честным евреям, не сионистам..."

И. Д. Иваненко, г. Краснодар

Сабля атамана Чепига

Баллада

Кошевой атаман Харко Чепига был облечен любовью и уважением казаков за храбрость. По казачьему "звичаяю" он был холост. Имел дорогую саблю, подаренную ему Императрицей Екатериной II.

Захворал Захар Чепига —
В поясище ломота.
На коня не сядешь лихо,
И горилка вже не та.

И не те под небом своды,
Где стоит казачья рать,
Спил он прожитые годы
И походы вспоминать.

Ехал батька в Польшу биться:
Конный путь — не близкий свет
Позвала Императрица
В Петербурге на обед.

Предложила винограду.
Атаману подыма
Шапку царскую в награду
От Двухглавого Орла.

В звон сабли золоченой,
В славе воинских трудов
Думал взять полячку в жены —
Добрых не было сватов!

В громе ружей на Кавказе
Так же был он холостым:
Пригляделась дочка князя —
Князю нужен был калым.

В штабе армии, в Тифлисе,
Фельдцейхмейстер-генерал
Дочь любимую Луизу
В атаманши предлагал...

Не ко времени Чепига
Занедужил, занемог.
Саблю дарственную тихо
Положил он на порог.

Говорят, Орел Двухглавый
К атаману пристал,
Шашку, с царской оправой,
В когти острые забрал.

На восток или на запад
Повернулась голова?..
Он унес ее куда-то
За большие деревья.

Казаки в Кругу казачьем
Той доверились молве:
На кургане Симбиратском
Саблю выделил и трапе!

На плечах того кургана
Шашка, полная огня,

Иван Варава

Ждет Чепигу-атамана,
Слышит хлан его коня.

...Воскрыв святую душу,
Батькин выполнив наказ,
Вдаль ударили из пушек
Черноморцы девять раз.

Буйночубые станицы
К роковому рубежу —
Отнесли его в гробницу,
Словно князя или пашу.

Годы — звездные обломки
Сквозь туман являют свет.
"Благодарные" потомки
Размели к могилам след!

Казацкая дума

Казацкая кровь по холмам не остыла,
Где храбрых героев Кубань хоронила.
Направо — могила, налево — могила:
Судьба казаков булавой разделила.

Восходит свистило
Из-за могилы:
"Мы все нашей Родине верно служили!"
Волонки оделись в нарядные платья —
Железные звезды, кресты да распятия.

Зеленые, красные, белые были...
Людей миллионы забрали могилы.
Из огненно-красных и белых соцветий
Сплетают венки неразумные дети.

Червоные, белые, желтые стяги —
Усыпаны трупом яры и овраги.
А из-за погоста невиданный знак
Полкам и вождям подает вурдалак.

И те, что в Сибири тайгу расплели,
Остались в снегах без креста и могилы.
А те, что поодли в подвалах чека, —
Утратили имя свое на века!

"...Россия — могильщик", "Россия — тюрьма!"
— А кто виноватый?
— Россия сама.
Червоные, белые, желто-блакитны*
Могила, могила... И голода пытки.

Сердца охладели, и думки остыли:
"Мы все нашу Землю и Волю любили!"
За землю и волю до края дошли:
Не надо ни Воли теперь, ни Земли.

Откуда найдутся у Родины силы,
Когда над могилами встали могилы?
Кривны да камени, да желтый песок...
На склонах могил не растет колосок.

* Желто-голубые (укр.)

Иван Солоневич

РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ*

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Пути административного энтузиазма усеяны, улы, не одними революционными розами. Во-первых, обыватель, преимущественно крестьянин, всегда и при первом же удобном случае готов проломить активисту череп. И по-вторых, над каждым активистом сидит активист чинном помысле, и от этого последнего происходит ряд весьма крупных неприятностей.

Позвольте для ясности привести и расшифровать один конкретный пример.

В "Последних Новостях" от 5 февраля 1934 г. была помещена такая заметка о советской России, кажется, из "Правды" Граммофонная фабрика выпускала пластинки с песенкой "В Туле жил да был король". Администрация фабрики пришла к выводу, что король в пролетарской стране фигура неподходящая. Король был заменен "стариком". За этакий "перегиб" нарком просвещения Бубнов эту администрацию выгнал с завода пон.

Эмигрантский читатель может доставить себе удовольствие и весело посмеяться над незадачливой администрацией: заставьте дурака богу молиться, он и т. д. Могу уверить этого читателя, что, будучи в шкуре означенной администрации, он бы смеяться не стал: за "старика" выгнал Бубнов, а за "короля" пришлось бы, пожалуй, разговаривать с Ягодой. Ведь сажали же певцов за "В плену император, в плену..." Ибо требовалось петь: "В плену полководец, в плену..."

Во всяком случае, лучше рискнуть изгнанием с двадцати служб, чем одним приглашением в ГПУ. Не такой уж дурак этот администратор, как издали может казаться.

Так вот, в этой краткой, но поучительной истории фигурируют директор завода, который, вероятно, не совсем уж оборзот, граммофонная пластинка, которая для "генеральной линии" не так уж актуальна, и Бубнов, который не совсем уж держиморда. И кроме того, действие сие происходит в Москве.

А если не Москва, а Краснококшайск, и если не граммофонная пластинка, а, скажем, "антипартийный уклон", и если не Бубнов, а просто держиморда. Так тогда как?

Недостарайся — плетит и перестарайся — плетит. Тут нужно потрафить в самый раз. А как именно выглядит этот "самый раз", неизвестно приблизительно никому.

Неизвестно потому, что и сам актив безграмотен и бестолков, и потому, что получаемые им "директивы" так же безграмотны и бестолковы. Те секреты и прочее, которые исходят из Москвы по официальной линии, практически никакого значения не имеют, как не имеют, скажем, решительно никакого значения просктыруемые тайные выборы. Ибо кто осмелится выставить спору кандидатур, которая будет педь не тайной, а открытой. Искуют здесь значение только те и отнюдь не публикуемые директивы, которые идут по партийной линии. Скажем, по поводу означенного тайного голосования актив, несомненно, получит директиву о том, как тайно ликвидировать явных и негодных кандидатов или явные и

антипартийные предложения. В партийности и антипартийности этих предложений судьей окажется тот же актив. И тут ему придется сильно ломать голову: почему ни с того ни с сего "король" оказался партийно присмлемым и почему за "старика" пздули?

Партийная директива исходит от московского держиморды и, "спускаясь в низовку", подвергается обработке со стороны держиморд областных, районных и прочих, "прорабатывающих оную директиву" применительно к местным условиям. Так что одна и та же директива, родившись в Москве из одного источника, по дороге на село или на завод разрастается целой этаким многоголовой гидрой. По советской линии (через исполком), по заводской линии (через трест), по партийной линии (через партийный комитет), по партийно-согледатейской (через ГПУ) и т. д. и т. д. Все эти гидры одновременно и с разных сторон пцпеются нашему активисту по все подходящие и неподходящие места, каковой факт способствовать прояснению чьих бы то ни было мозгов никак не может.

Конечно, промежуточные держиморды об этих директивах друг с другом не сопарищаются. Когда очередная директива кончается очередным крахом, возникает ожесточенный междупедомственный мордобой. Держиморды большие ссаливают все грехи на держиморд мелких, и едет наш актив и за Урал, и на низовую работу, и просто в концлагерь.

В самом чистом виде эта история произошла со знаменитым голопокружением — история, которую я случайно знаю весьма близко. По прямой директиве Сталина Юг России был разорен дребезги: требовалось сломить кулачество в тех районах, где оно составляло подавляющее большинство населения. Андреев, нынешний секретарь ЦК партии, получил на эту тему специальную и личную директиву Сталина. Директива, причисленная к местным условиям, была передана секретарям районных комитетов партии в письменном виде, но с приказанием по прочтении и усвоении сжечь. Этот последний вариант я самовлично выдал у одного из уже бывших секретарей, который тогдался ее не сжечь.

На донского и кубанского чужика актив ринулся со всем своим погромным энтузиазмом. О том, что делалось на Дону и на Кубани, лучше и не говорить. Но когда начались волнения и восстания в армии, когда волей-неволей пришлось дать отбой, Сталин выкинул свое знаменитое "Головокружение от успехов": от актива ему нужно было отгородиться во имя собственной шкуры.

Маккиавели не подгадит. Мужики из актива вытягивали кишки по першку. ГПУ расстреливало и рассылало особенно однозные фигуры, и сач я слышал в вагоне старушонку, которая говорила:

— Вот Сталину уж, действительно, дай бог здоровья. Прямо из петли вытанил.

Только здесь, за границей, я понял, что старушонка эта, несмотря на весь свой преклонный возраст, принадлежала к партии младороссов.

Тот дядя, который догадался оную директиву не сжечь, был очень стреляющим советским держимордой. Он не только не сжег ее, он ее передал в третьи руки. И взятый за жабры по обвинению в голопокружении, сказал, что сжечь с ним что-нибудь особенное сделают, так эта директивка за подписью самого Андреева пойдет гулять по партийным и по военным верхам. Дядя сторговался с ГПУ на том, что его выставят в Среднюю Азию. Директивка у него осталась и была запрятана в особо секретном месте. Но столь догадливые активисты попадаются очень редко.

Так вот и живет этот актив между обухом рабоче-крестьянской ярости и плетью "рабоче-крестьянской" власти.

Власть с активом не перемонится. Впрочем, с кем, а сущности, перемонится сталинская власть? Разве только с Лениным, да и то потому, что все равно уже почер. С активом она не перемонится, в особенности, нехотя из того несча реалистического соображения.

* Продолжение. Начало в № 1—4

что этому активу все равно деваться некуда; лишь только он уйдет из-под крылышка власти, лишь только он будет лишен традиционного нагаи, его зарежут в самом непродолжительном времени.

ЧЕРТОВЫ ЧЕРЕПКИ

Оторванный от всякой социальной базы, предавший свою мать ГПУ и свою душу черту, актив делает карьеру. Но черт, как это известно было уже Гоголю, имеет чисто большевистскую привычку платить черепками. Этими черепками оплачивается и актив.

Люди, которые представляют себе этот актив в качестве "сливок нации" и победителей в жизненной борьбе, совершают грубую ошибку. Никакие они не сливки и никакие они не победители. Это измотанные, истрепанные, обалделые люди, и не только палачи, но и жертвы. Та сравнительно небольшая прослойка актива, которая прошла на все эти доносы и раскулачивания во имя какой-то веры, пусть очень туманной, но все же веры, веры хотя бы только в вождя, состоит, кроме всего прочего, из людей глубоко и безнадежно несчастных, слишком широкие потоки крови отрезают дорогу назад, а впереди... Впереди ничего, кроме чертовых черепков, не видно.

Советская власть платить вообще не любит. Индивидуально ценный и во многих случаях практически трудно заменимый спец как-то пропитывается и не голодает не воруя. Актив может не голодать только за счет воровства.

Он и подворовывает, конечно, а пищенских советских масштабах, так, на фунт мяса и на бутылку водки, по такой примерно схеме:

Ванька сидит председателем колхоза, Степка в милиции, Петька, скажем, в Госспирте. Ванька "раскулачит" мужицкую свинью и передаст ее милиции. Выходит, как будто, и легально: не себе же ее взял. Милицейский Степка эту свинью зарежет, часть отдаст на какие-нибудь заготовки, чтобы потом, в случае какого-нибудь подсиживания, легче было отписаться, часть в воздаяние услуги даст тому же Ваньке, часть в чаепитии дальнейших услуг препроводит Петьке. Петька снабдит всю компанию водкой. Водка же будет "извлечена" из акта, в котором будет сказано, что на подводе Марксо-Ленинско-Сталинского колхоза означенная вода была перевозима со склада в магазин, причем в силу низкого качества оси, изготовленной Россельмашем, подвода опрокинулась, и водка — поминай, как звали. Акт будет подписан председателем колхоза, старшим милицейским и заведующим Марксо-Ленинско-Сталинским отделением Госспирта. Пойди потом разберись.

Да и разбираться-то никто не будет. Местное население будет молчать, воды в рот набравши. Ибо ежели кто-нибудь донесет на Петьку в ГПУ, то в этом ГПУ у Петьки может быть товарищ или, как в этом случае говорят, "корешок". Петьку-то, может, и вышлют в концлагерь, но зато и оставшиеся "корешки", и те, кто прибудет на Петькино место, постараются с возможным автором разоблачения расправиться так, чтобы уж окончательно никому исповедно было портить очередную активистскую выпивку.

Этакое воровство в той части, какая идет на активистский пропой души, большого народнохозяйственного значения не имеет даже и в масштабах советской нищеты. Бывает значительно хуже, когда для сокрытия воровства и для получения возможности сорвать уничтожаются ценности, далеко превосходящие потребительские аппетиты актива. В моей кооперативной деятельности была и такая: мне раз пришлось обследовать склад в 8000 пудов копченого мяса, которое сплюли в целях сокрытия концов в воду. Концы, действительно, были скрыты: к складу за полверсты подойти было нельзя. И на все были акты, подписанные соответствующими Ваньками, Петьками и Степками.

Ревизионная комиссия вынесла соломоново решение: согнать мужиков и, выкопав ямы, зарыть в эти ямы оное гнилье.

Для полноты картины следует добавить, что сгнившие колбасы были изготовлены из "раскулаченных" у тех же мужиков свиней. В течение месяца после этого благовоного происшествия половина местного актива была вырезана мужиками "на корню". Остальные разбежались.

АКТИВ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Так что, куда ни кинь, все выходят чертовы черепки. Особенно обидный вариант этих черепков получается в отношении актива и интеллигенции.

Нынешний российский политический строй — это абсолютизм, который хочет быть просвещенным. Хозяйственный строй — это крепостничество, которое хочет быть культурным. Поэтому советский барин любит щеголять культурой и белыми перчатками. Обращаясь к аналогии крепостных времен, следует вспомнить, что тот самый Мирабо, который

старого Гаврило
за измятое жабо
хлещет в ус да в рыло,

относился весьма сочувственно к Вольтеру и украшал жизнь свою крепостным балетом. Он, конечно, был покровителем наук и искусств. Он, скажем, после хорошей псовой охоты по мужичьим полям или после соответствующих опсраций на конюшине был очень не прочь отдохнуть душой и телом за созерцанием каких-нибудь этаких черных тюльпанов. По этой самой причине он милостиво пригласит в свой барский кабинет ученого, хотя и тоже крепостного, садовода и будет вести с ним проникновенные разговоры о цветоводстве или о том, как бы этак распланировать барский парк, чтобы соседнее буржуазное поместье сдохло от зависти.

Как видите, тема эта довольно тонкая. Бурмистр же столь тонких разговоров вести не может. Он выполняет функцию грубую — бьет плебс по морде. Садовода пороть невыгодно, на обучение его какие-то деньги ухлопали. А на место бурмистра можно поставить любого обормота с достаточно административными дланями и челюстями.

Вот приблизительная схема взаимоотношений треугольника "партия — актив — интеллигенция", как эта схема складывается в последние годы. Ибо именно в последние годы стало ясно, что с интеллигенцией власть одновременно перепланировала и недопланировала.

Истребление "буржуазной интеллигенции" было поставлено в таких масштабах, что когда "план" при содействии доблестных активистских челюстей был выполнен, то оказалось, что почти никого не осталось. А новая советская, пролетарская и т. д. интеллигенция оказалась еще более контрреволюционной, чем была старая интеллигенция, и менее грамотной технически и орфографически, чем была старая даже полунинтеллигенция. Образовалась дыра, или, по советской терминологии, — прорыв, острая "нехватка кадров" врачей, технических, педагогических и прочих. Интеллигент оказался "в цене". А недорезанный старый — в еще большей. Это не поворот в политике и не эволюция власти, а просто закон спроса и предложения, или, по Марксу, "голый чистоган". При изменившемся соотношении спроса активистским челюстям снова найдется работа.

Теперь представьте себе психологию актива. Он считает, что он — соль земли и надежда мировой революции. Он проливал кровь. Ему не единожды и не дважды проламывали череп и выпускали кишки. Он, безусловно, верный пес советского абдул-гамидизма. Ни в каких уклонах, сознательных по крайней мере, он неповинен и повинен быть не может. Для уклона нужны все-таки хоть какие-нибудь мозги, хоть

какая-нибудь совесть. Ни тем, ни другим актив не переобременен. Можете вы себе представить уездного держиморду, замешанного в "бессмысленных мечтаниях" и болеющего болями и скорбями страны?

По всему этому актив считает, что кто-то, а уж он-то по всяком случае имеет право на начальственные благодеяния и на тот жизненный пирог, который, улы, проплывает мимо его стальных челюстей и разинутой пасти и попадает в руки интеллигенции, руки запредомо иронические и неблагоприятные.

И пирог попадает все-таки к интеллигенции. Цепных псов никогда особенно не кормят, говорят, что они от этого бывают злее. Не кормят особенно и актив, прежде всего потому, что кормить досыта вообще нечем, а то, что есть, перепадает преимущественно людям "в цене", то есть партийной верхушке и интеллигенции.

Все это очень обидно и очень как-то двусмысленно. Скажем, актив обязан согладательствовать и в первую голову согладательствовать за интеллигенцией, в особенности за советской и пролетарской, ибо ее больше, и она более активна. Как бы осторожно человека ни учили, он от этого приобретает скверную привычку думать. А ничего в мире советская власть так не боится, как оружия в руке и мыслей в голове у трудящихся масс. Оружие можно отобрать. Но каким, хотя бы самым пронзительным обыском можно обнаружить, например, склад опасных мыслей?

Служка за мыслями — вещь тонкая и активу, ясно, не под силу. Но следить он обязан. Откопает, починит какого-нибудь приставленного к этому делу Петьку, какой-нибудь троцкистско-бухаринский право-левацкий уклон-загиб и сейчас же Петьку за жабры: а ты что не вцепился? И посчет Петька или на Аму-Дарью, или в ББК.

А с другой стороны, как его сигнализируешь? Интеллигент — он "все превзошел, делами выдумывать может", а уж Петьку ему таким уклон-загибом обойти — дело совсем простое. Возьмет в руки книжку и ткнет туда Петьку носом.

— Видишь? Кем написано? Бухариным, Каменевым, Рыдком написано. Смотри, партиздат есть? Геть. "Под редакцией коммунистической академии" написано? Написано. Ну, так и пошел ты ко всем чертям. — Активисту ничего не остается, как пойти ко всем чертям.

Но и в этом местопребывании активисту будет неуютно. Ибо откуда его бедная чужбинная голова может знать, была ли инкриминируемая бухаринско-прочая фраза или цитата написана до разоблачения или после покаяния. Или она успела проскочить перед обалделым взором коммунистической академии в промежуток между разоблачением и покаянием? И не придется ли означенному Бухарину за означенную фразу снова разоблачаться, пороться и каяться, и не плетит ли при этом оному активисту задним числом и по тому же месту?

Не досмотришь, и —

"притупление классовой бдительности...";

"хождение на попятн у классовой прага...";

"гибкой оппозиционностью...";

"смычка с праждабными партией элементами..."

Перестарайся, и опять палка — "голопокружение", "перегиб", "спецседство", "развал работы" и даже "травля интеллигенции". И как тут отличить линию от загиба, недооценку от переоценки, пролетарскую бдительность от голого администрирования и халтуру от кабака? На всей этой терминологии кружатся и гибнут головы, напоявшиеся и не одним только "энтузиазмом"

Советскую власть, в зависимости от темперамента и от политических убеждений, оценивают, как известно, с самых различных точек зрения. По-видимому, за скобки всех этих точек зрения можно вывести один общий множитель, как будто бесспорный: советская

система, как система власти, по что бы то ни стало показана миру недостижимый образец "техники власти"

Как бы мы ни оценивали советскую систему, бесспорным кажется еще одно — ни одна власть в истории человечества не ставила себе таких грандиозных целей и ни одна в истории власть по дороге к своим целям не нагромодила такого количества трупов. И при этом осталась непоколебимой.

Этот треугольник "целей—трупов—непоколебимости" создает целый ряд оптических иллюзий. За голый техникой властвования людям мерещатся и "энтузиазм", и "мистика", и "геронизм", и "славянская душа", — и черт знает что еще.

В 1918 году в германском Киспе мне как-то пришлось этак по душам разговаривать с Мануильским, нынешним генеральным секретарем Коминтерна, а также представителем красной Москвы в весьма неопределенного цвета Киспе. Я доказывал Мануильскому, что большевизм обречен, ибо сочувствие масс не на его стороне.

Я помню, как сейчас, с каким искренним пренебрежением посмотрел на меня Мануильский. Точно хотел сказать: пот поди ж ты, даже мировая война, и та еще не всех дураков вывела.

— Послушайте, дорогой мой, — всмехнулся он весьма презрительно, — да на какого же нам черта сочувствие масс? Нам нужен аппарат власти. И он у нас будет. А сочувствие масс? В конечном счете наплевать нам на сочувствие масс.

Очень много лет спустя, пройдя всю суровую, сжигающую всякую иллюзию школу советской власти, я, так сказать, споей шкуркой прощупал этот уже реализованный аппарат власти в городах и деревнях, на заводах и в аулах, в ВЦИК и в лагере, в тюрьмах. Только после всего этого мне стал ясен ответ на мой давнишний вопрос, из кого же можно сколотить аппарат власти при условии отсутствия сочувствия масс?

Ответ заключается в том, что аппарат можно сколотить из сволочи, и сколоченный из сволочи, он оказался непроборимым, ибо для сволочи нет сомнения, ни мысли, ни сожаления, ни сострадания: твердой души прохвосты.

Конечно, эти твердой души прохвосты-активисты отнюдь не специфически русское явление. В Африке они занимаются стрельбой по живым чернокожим целям, в Америке линчуют негров, покупают акции компании Поева копчега. Это мировой тип. Это тип человека с мозгами барана, челюстями полка и моральным чувством протоплазмы. Это тип человека, ницущего решения плюгавых своих проблем в распороте жипоте ближнего споса. Но так как никаких решений в этих жипотах не обнаруживается, то проблемы остаются нерешенными, а жипоты испариваются дальше. Это тип человека, участвующего шестнадцатым в очереди в коллективном изнасиловании.

Реалистичность большевизма выразилась, в частности, в том, что ставка на сволочь была поставлена прямо и бестрепетно.

Я никак не хочу утверждать, что Мануильский был сволочью, как не сволочью был и Торгведама. Но когда христианство тянуло людей в небесный рай крестами и пытками, а большевизм — в земной — "искоби" и пулеметами, то в практической деятельности, ничего не подделавшись, приходится базироваться на сволочи. Технику организации и использования этой последней большевизм от средневековой и капиталистической кустарщины поднял до уровня самочетов и радио. Он этот "актив" собрал со всей земли, отделил от всего остального населения химической пробой на донос и кроль, отгородил стеной из ненависти, вооружил пулеметами и танками. Сочувствие масс Певать нам на сочувствие масс.

ЛАГЕРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ АКТИВА

Когда я несколько осмотрелся кругом и ознакомился с людским содержанием УРЧ, мне стало как-то очень не по себе. Правда, на поте активу никогда не удалось

вцепиться мне в икры всерьез. Но как будет здесь, в лагере? Здесь, в лагере, самый неудачный, самый озлобленный, обиженный богом и Сталиным актер — все те, кто глядел и не доглядел, служил и переслужился, воровал и проворовался. У него вместо почти облюбованного партбилета — годы каторги, вместо автомобиля — березовое полено и вместо власти — нищенский лагерный блат из-за тишней ложки ячменной каши. А пирог? Пирог так мимо и ушел.

За что же боролись, братишечки?

...Я сижу на полене, кругом на полу валяются кипы "личных дел", и я попытаюсь как-нибудь разобраться, или, по пасадкинской терминологии, определить, "что — куда". Высокий жилистый человек с костистым изжвавшимся лицом, в буденовке, но без звезды, в военной шинели, но без петлиц, — значит, заключенный, но из привилегированных, проходит мимо меня и осматривает меня, мое полено и мои дела. Осматривает внимательно и как-то презрительно-озлобленно. Проходит в следующую закуту, и оттуда я слышу его голос:

— Что, эти сукины дети с Погры опять нам какого-то профессора прислали?

— Не, юрес-кон-сул какой-то, — отвечает полубодростный голос.

— Ну, все равно. Мы ему здесь покажем университет. Твердун, вызови мне Фрейденберга.

— Слушаю, товарищ Стародубцев.

Фрейденберг — это один из украинских профессоров, профессор математики. В этом качестве он почему-то попал на должность "статистика" — должность, ничего общего со статистикой не имеющую. Статистик — это низовой погонщик УРЧ, долженствующий в масштабе колонны, то есть двух-трех барачков, учитывать использование рабочей силы и гнать на работу всех, кто еще не помер. Не подходящая для профессора Фрейденберга должность.

— Товарищ Стародубцев, Фрейденберг у телефона

— Фрейденберг? Говорит Стародубцев... Сколько раз я вам, сукиному сыну, говорил, чтобы вы мне сюда этих очкастых идиотов не присылали... Что? Чей приказ? Плевать мне на приказ! Я вам приказываю. Как начальник стросового отдела. А то я вас со всем очкастым г. на девятнадцатый квартал вышибу. Тут вам не университет. Тут вы у меня не поразговариваете. Что? Молчать, черт вас раздери! Я вот вас самих в шизо посажу. Опять у вас вчера семь человек на работу не вышло. Плевать я хочу на ихние болезни... Вам приказано всех гнать... Что? Вы раньше матом крыть научитесь, а потом будете разговаривать. Что, ВОХРа у вас нет?.. Если у вас завтра хоть один человек не выйдет...

Я слушаю эту тираду, пересыпанную весьма лапидарными, но отнюдь не печатными выражениями, и личные дела в голову мне не лезут. Кто такой Стародубцев, какие у него права и функции? Что означает этот столь многообещающий присм? И в какой степени моя теория советских взаимоотношений на воле может быть приложена здесь? Здесь у меня знакомых ни души. Профессора? С одним вот таким разговаривают. Двое служат в УРЧ уборщиками — совершенно ясно, из чистого издевательства над "очкастыми". Один профессор рефлексологии штемпелюет личные карточки, 10—15 часов однообразного движения рукой.

Профессор рефлексологии.. Психология в советской России аннулирована. Раз нет души, то какая же псих. эгия? А профессор был такой. Как-то несколько позже, не помню, по какому именно поводу, я сказал что-то о фрейдизме.

— Фрейдизм? — переспросил меня профессор. — Это что? Новый уклон?

Профессор был советского скорострельного призыва. А уж полную советскую интеллигенцию "актив" ненавидит всеми фибрами своих твердых душ. Старая еще

туда-сюда. Училась при царском строс — кто теперь разберет. А вот новая, которая обошла и обставила активистов на самых глазах, под самым носом... Тут есть от чего скрипеть зубами.

Нет, в качестве поддержки профессора никуда не годятся. Пытаюсь рассмотреть свою ситуацию теоретически. К чему теоретически сводится эта ситуация? Надо полагать, что я попал сюда потому, что был нужен более высокому начальству, вероятно, из чекистов. Если это так, на Стародубцева не сейчас, так позже можно будет плюнуть. Стародубцева можно будет обойти так, что ему останется только зубами лязгать. А если не так? Чем я рискую? В конце концов, едва ли большим, чем просто лесные работы. Во всяком случае, при любом положении попытки актива вцепиться в икры нужно пресекать в самом корне. Так говорит моя советская теория. Ибо если не осадить сразу, заедят. Эта публика значительно хуже урок хотя бы потому, что урки гораздо толковее. Они если будут пырять ножом, то во имя каких-то конкретных интересов. Актив может вцепиться в горло просто из одной собачьей злобы, без всякой выгоды для себя и без всякого, в сущности, расчета, из одной, так сказать, классовой ненависти. В тот же вечер я прохожу мимо стола Стародубцева.

— Эй вы, как фаша фамилия? Тоже профессор?

Я останавливаюсь.

— Моя фамилия Солоневич. Я не профессор.

— То-то. Тут идиотам плохо приходится.

У меня становится нехорошо на душе. Значит, началось. Значит, нужно осаживать сейчас же. А я здесь, в УРЧ, как в лесу. Но ничего не поделасшь. Стародубцев смотрит на меня в упор наглыми, выпученными, синими с прожилками глазами.

— Ну, не все же идиоты. Вот вы, насколько я понимаю, не так уж плохо устроились.

Кто-то сзади хихикнул и заткнулся. Стародубцев вскочил с перекошенным лицом.. Я постарался всем своим лицом и фигурой выразить полную и немедленную, психическую и физическую готовность цап в морду. И для меня это, вероятно, грозило бы несколькими неделями изолятора. Для Стародубцева — несколькими неделями больницы. Но последнего обстоятельства Стародубцев мог и не учитывать. Поэтому я, предупреждая готовый вырваться из уст Стародубцева мат, говорю ему таким академическим тоном:

— Я, видите ли, не знаю вашего служебного положения. Но должен вас предупредить, что если вы хоть на одну секунду попытаетесь разговаривать со мною таким тоном, как разговаривали с профессором Фрейденбергом, то получится очень нехорошо.

Стародубцев стоит молча. Только лицо его передергивается. Я поворачиваюсь и иду дальше. Вслед за мной несется:

— Ну, подожди же...

И уже пониженным голосом присовокупляет мат. Но этого мата я "официально" могу и не слышать, я уже в другой комнате.

В тот же вечер, сидя на своем полене, я слышу в соседней комнате такой диалог: Чей-то голос:

— Товарищ Стародубцев, что такое ихти-олог?

— Ихтиолог? Это рыба такая. Допотопная. Сейчас их нету.

— Как нету? А вот Медгора требует сообщить, сколько у нас на учете ихтиологов.

— Вот тоже, сразу видно — идиоты с университетским образованием... — голос Стародубцева повышается в расчете на то, чтобы я смог слышать его афоризм. — Вот тоже удивительно, как с высшим образованием, так непременно идиот. Ну, и пиши им: никаких допотопных рыб в распоряжении УРЧ не имеется. Утри им нос.

Парень смолк, видимо, приступил к утиранию носа. И вот, к моему ужасу, слышу я голос Юры:

— Это не рыба, товарищ Стародубцев, а ученый... который рыб изучает

— А вам какое дело. Не разговаривать, когда вас не спрашивают, черт вас возьми. Я вас тут научу разговаривать. Всякий сукин сын будет лезть не в свое дело.

Мне становится опять нехорошо. Вступить с кулаками на защиту Юры — будет как-то глупо, в особенности, пока дело до кулаков еще не доходит. Смолчать? Дать этому активу прорвать наш фронт, так сказать, на Юрином участке? И на какого черта Юре было лезть с его поправкой! Слышу срывающийся голос Юры:

— Слушаюсь. Но только я доложу об этом начальнику УРЧ. Если бы ваши допотопные рыбы пошли в Медгору, была бы неприятность и ему.

У меня отходит от сердца. Молодцом, Юрчик, выкрутился. Но как долго и с каким успехом придется еще выкручиваться дальше?

Нас поместили на жительство в палатке. Было электрическое освещение, и с потолка вода не лилась. Но температура на нарах была градусов 8—10 ниже нуля. Ночью пробирася "домой" Юра подавлен.

— Пужно куда-нибудь сматываться, Ватик. Засядят Сегодня я видал: Стародубцев выронил папиросу, позвал из другой комнаты профессора М. и заставил ее поднять. К чертовой матери. Лучше к уркам или в лес.

Я тоже думал, что лучше к уркам или в лес. Но я еще не знал всего, что нам готовил УРЧ, и месяцы, которые нам предстояло провести в нем. Я также недооценивал вольчку хватку Стародубцева. Он чуть было не отправил меня под расстрел. И никто еще не знал, что впереди будут кошмарные недели отправки подпорожских эшелонов на БАМ, что эти недели будут безмерно тяжелее Шпалерки, одиночки и ожидания расстрела.

И все-таки, если бы не попали в УРЧ, то едва ли бы мы вырвались из всего этого живыми.

РАЗГОВОР С НАЧАЛЬСТВОМ

На другой день ко мне подходит один из профессоров уборщиков.

— Вас вызывает начальник УРЧ товарищ Богоявленский.

Первы, конечно, уже начинают тупеть. Но все-таки на душе опять тревожно и нехорошо. В чем дело? Не вчерашний ли разговор со Стародубцевым?

— Скажите мне, кто, собственно, этот Богоявленский? Из заключенных?

— Нет, старый чекист.

Становится легче. Опять один из парадоксов советской путаницы. Чекист — это хозяин. Актив — это свора. Свора поровнит вцепиться в любые икры, даже и те, которые хозяин предпочел бы видеть не изгрызанными. Хозяин может быть любой сволочью, но накинущуюся на нас свору он в большинстве случаев отгонит плетью. С мужиком и рабочим актив расправляется более или менее беспрепятственно. Интеллигенцию сажает само ГПУ. В столицах, где актив торчит совсем на заворках, это мало заметно, но в провинции ГПУ защищает интеллигенцию от актива или, по всяком случае, от самостоятельных поползновений актива.

Такая же закута, как и остальные "отделы" УРЧ. Задрипанный письменный стол. За столом — человек в чекистской форме. На столе перед ним лежит мое личное дело.

Богоявленский окидывает меня суровым чекистским взором и начинает начаяственное внушение, совершенно беспредметное и бессмысленное. Здесь, дескать, тагерь, а не курорт, тут, дескать, не чинидалиячают, а с контрреволюционерами в особенности, за малейшее упущение или нарушение трудовой лагерной дисциплины — немедленно под арест, в шинзо, на двенадцатый квартал, на Лесную Речку. Пужно взять большевистские темпы работы. Пужна ударная работа. Ну, и так далее.

Это свирепое внушение действует, как бальзам, на мои раны — эффект, какого Богоявленский никак не ожидал. Из этого внушения я умозаключаю следующее: что Богоявленский о моих статьях знает, что оные статьи в его глазах никаким препятствием не служат, что о разговоре со Стародубцевым он или ничего не знает, или, зная, никакого значения ему не придаст, и что, наконец, о моих будущих функциях он имел то самое представление, которое столь блестяще было сформулировано Наседкиным: "что — куда".

— Гражданин начальник, позвольте вам доложить, что ваше предупреждение совершенно бесцельно.

— То есть как так бесцельно? — свирепеет Богоявленский.

— Очень просто. Раз я попал в лагерь, в моих собственных интересах работать, как вы говорите, ударно и стать ценным работником, в частности, для вас. Дело тут не во мне.

— А в ком же, по-вашему, дело?

— Гражданин начальник, ведь через неделю-две в одной только Погре будет 25—30 тысяч заключенных. А по всему отделению их будет тысяч 40—50. Ведь вы понимаете, как при таком аппарате... Ведь и мне в конечном счете придется отвечать, всему УРЧ и мне тоже.

— Да уж насчет отвечать, это будьте спокойны. Не поцеремонимся.

— Ну, конечно. На поле тоже не церемонятся. Но вопрос в том, как при данном аппарате организовать рассортировку этих сорока тысяч? Запутася ведь к чертовой матери.

— И-да. Аппарат у вас не очень. А на поле вы где работали?

Я изобретаю соответствующий моменту стаж.

— Так что ж вы стоите? Садитесь.

— Если вы разрешите, гражданин начальник... Мне кажется, что вопрос идет о квалификации существующего аппарата. Особенно в низовке, в бараках и колоннах. Пужно бы небольшие курсы организовать. На основе ударничества.

И я запинаясь. Усталость. Мозги не работают. Вот дернула нелегкая ляпнуть об ударничестве. Не хватало еще ляпнуть что-нибудь о социальном соревновании. Совсем подмочил бы свою нарождающуюся деловую репутацию.

— Да, курсы — это бы неплохо. Да кто будет читать?

— Я могу взяться. Медгора должна помочь. Отделение как-никак ударное.

— Да, это надо обдумать. Берите папиросу.

— Спасибо, я старовер.

Моя образцово-показательная коробка опять появляется на свет божий. Богоявленский смотрит на нее не без удивления. Я протягиваю:

— Пожалуйста.

Богоявленский берет папиросу.

— Откуда это в лагере люди такие папиросы достают?

— Из Москвы приятели прислали. Сами не курят, а записаны в распределитель номер первый.

Распределитель номер первый — это правительственный распределитель, так — для наркомов и их с ними. Богоявленский это, конечно, знает.

Минут через двадцать мы расстаемся с Богоявленским несколько не в том тоне, в каком встретились.

ТЕХНИКА ГИБЕЛИ МАСС

Мои обязанности "юриеконсульта" и "экономиста-плановика" имели то замечательное свойство, что никто рсшительно не знал, в чем имснно они заключаются. В том числе и я. Я знакомился с новой для меня отраслью советского бытия и по мерс своих сил пытался завести в УРЧ какой-нибудь порядок. Богоявленский, надо отдать ему справедливость, оказывал мне в этих попытках весьма сущесствснную поддержку. "Актив" изводил нас с Юрой дссятками мелких, бсссмысленных подвохов, но ничего путного сделать не мог, а как оказалось впоследствии, концентрировал силы для генеральной атаки. Что этому активу было нужно, я так и не узнал до конца. Возможно, что одно время он боялся, как бы я не стал на скользкие пути разоблачения его многообразного лоровства, вымогатсльства и грабсжа. Но для такой попытки я все-таки был слишком стреляным воробьем. Благоприобретенные за счет мужицких жизней бутылки советской сивухи распивались, хотя и келсйно, но вкупе с головкой административного отдела, третсй части и прочих лагерных заксдений. Словом, та же схема: Ванька в колхозе, Стспка в милиции, Петька в Госспирте... Попробуйте пробить эту цспь круговой пролетарской приятельской поруки. Это и на воле жизнсопасно, а в лагере уж проше сразу повсситься. Я не собирался ни всшаться, ни лезть с буржуазным уставом в пролетарский монастырь. Но актив продолжал нас травить — бессмысленно и в сущности бесцельно. Потом в эту сначала бессмысленную травлю вклинились мотивы деловые и песьма песомые. Разыгрались одна из бесчисленных в России сцсп классовой борьбы между интеллигснцией и активом — борьба за человечесские жизни.

Продолжение следует.

Поэзия

Валерий Хатюшин
"Распятие на звезде..."

...

В своем величье гордом и убогом
Угас народ под бременем оков.
Так было суждено России Богом —
Распятие на звезде большевиков.

Вы, шедшие штыками брат на брата,
буденовки надвинув до бровей,
вы не мечтали, что придет расплата
за подлость вами выбранных идей?..

...

Что ни идея — то разруха,
и что ни мысль — то стыд и срам.
И смерть — злорадная старуха
с эстрады подвывает нам.
Разъединить нас всех сумели,
куда б ни шли — идем мы врозь,
уже и дышим еле-еле,
но для петли — вбиваем гвоздь...

...

На лбу с отметиной кровавой,
захваченный всемирной славой,
он строит "европейский дом".
И превратив страну в Содом, —
ее залил речей отравой.

Три кресла приминцает задом,
народным управляя стадом
в угоду мировым дельцам
и нашим "левым" подлецам,
пропахшим сатанинским смрадом

... Идет торгаш походкой бравой,
доволен рыночной распрятвой.
Над обворованной страной..
Смеется за его спиной
Последний Михаил Кровавый.

...

... Во имя древней той земли,
потопленной, той самой ради
здесь наши предки полегли,
не уступив врагу ни пяди.

Врагов же было тьмы и тьмы...
Не зная мира и покоя,
здесь жили пращурь. А мы —
теперь уходим, сдав без боя.

Уходим под эстрадный вой
в могилы, что себе отрыли...
На мирной третьей мировой
нас, усупленных, покорили...

2*

Владимир Карпец

...

На размокшую землю,
прощаясь, положив ладони...
Под хранительным льдом,
только спились все эти года —
До войны всеземной
от расстрела в Ипатьевском доме
Только шаг, только миг
да крещенская с кровью вода.

А вокруг в свальном грехе
сталинисты, евреи, чинуши,
либералы и люберы —
катится в пламя клубок...
И не слышит никто,
как из лейки невидимо тушит
белый мальчик в матроске
пылающий русский острог.

Молитва

Расплывался вечерний малиновый звон,
Переполненный страстью бесстрастной, —
Там старуха молилась,
забыл про канон, —
"Серафимушко, солнышко ясное..."

Убиваясь, молилась в своем шушуне
Преподобному Сергию, Тихону
О пропащей земле, о великой стране —
Покровителю, Ангелу тихому.

О безгрешном сем дне,
о заблудших властях
И за христолубивое воинство,
Обо всем, обо всех и навеки о тех,
В ком треклятые бесы заводятся.

О покое святом убиенных родов,
Да спастись нам от скверны
и гадости,
Да избавиться нам от змеиных плодов —
Паки, пакн — Нечаянной Радости.

И как будто в лесу,
освеженном грозой,
Осняло ее, безутешную,
Проступали в подглазьях
слеза за слезой —
Богородица слышала грешную.

И вливаясь молитва в святую капель,
Той, великой весны побеждення,
И на мертвую Русь опускалась купель
Для грядущего новорождения.

Петр Краснов

ОТ ДВУГЛАВОГО ОРЛА К КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ*

ИЗ РОМАНА

В полку наступило скучное время. Строевые занятия не было. Все начальство было в отпуску. Всюду были "временно исполняющие должность", предпочитавшие, чтобы не папугать чего, ничего не делать, и всех уверяющие, что они только халифы на час. В канцелярии сидел ротмистр, вр. и. д. командира полка, корнет, вр. и. д. полкового адъютанта, эскадронами правили корнеты, появляющиеся ежедневно на полчаса в эскадронной канцелярии, чтобы выслушать рапорт вахмистра, что все обстоит благополучно, и подписать какие-то ведомости и требования.

Суетились только квартирмейстер и ветеринарный врач. Первый спешно оканчивал ремонт казарм без расходов от казны, на полковые средства, второй лечил лошадей и исправлял убытки, нанесенные маневрами. С утра яззарет наполнялся лошадьми с набитыми спицами, хромыми, волочащими ноги. Засечки, растяжения, ушибы, мокрецы, — все это промышлось, бинтовалось, подмазывалось, делались втирания, массажи. Так готовили четвероногих больных к новой работе.

Окна в казармах были забрызганы краской, всюду пахло олифой, свежеструганным деревом, известкой, кирпичом и замазкой. Солдаты в рубашках и шароварах какого-то пятого срока, не показанных ни в какой табели и состоящих из заплат и дыр, лазали по крышам, и, стоя на лесах, красили, строгали, месили известку, произведя свой полковой ремонт. Увольняемые в запас 10 малыми командами, то поодиночке уходили в город, справлять гостиницу для деревни.

Большой полковой двор был пуст и порос травой. Барьеры, чучела и станки для рубки лежали в углу, поломанные и грязные. На них сушились какие-то тряпки, да подле бродили вахмистерские куры и утки.

Саблину, никуда не поехавшему, противно было заглядывать на дворы и конюшни. На квартире одному было скучно. Он иногда целый день

проводил, лежа в кабинете с книгой в руках. Обед ему приносили из собрания на квартиру. Скучно было ходить по залам с занавешенными по-летнему зеркалами и портретами, где гулко отчаялись шаги, и садиться за большой стол, где накрыто было пять, шесть приборов и сидел один дежурный по полку.

Саблин думал, подводил итоги прожитому году. Что приобрел он за этот год офицерства? Умение одеваться по форме. Он узнал, что при спортуке с эполетами нельзя носить высокие свлочки, что в ложах надо быть при эполетах и привозить дамам конфеты, что есть приличные и неприличные клубы, что в приказный клуб на Владимирском ходить неприлично даже для игры, также нельзя посещать и благородное собрание на Мойке. Он узнал больше. Узнал, что любить можно кого угодно, но любовь должна быть скрыта. Что Китти может приехать на квартиру Гриценки, и на глазах у песенников, трубачей и прислуги ее можно целовать, но с нею нельзя пройтись под руку по Павловскому парку, куда вход нижним чинам воспрещен.

Он бросился к Китти. Хотел у нее снова опьяниться страстью. Вздвигнутое воображение рисовало ее опять соблазнительно прекрасной. Но на даче ее не оказалось. Саблин поехал на Офицерскую. Там была одна Влада. Она сказала, что Китти уехала куда-то далеко, в провинцию. Может быть, вышла замуж не то за аптекаря, не то за музыканта. Влада смеялась в лицо Саблину. Странно было видеть, что Влада так же щурилась глазами, как Китти, и глаза у нее были такие же большие, как у Китти, только серые. Близость полного тела и белых рук, обнаженных до локтя, взволновала Саблина.

— Да войдите же, чего стоите! Я одна, — смеялась Влада.

Гостиница была полна воспоминаний. Только гостиницы в ней не было. Стояли лохматые хризантемы.

— Ну, снимайте пальто.

Было странно, что он так любил Китти, так

хорошо говорил о ней с Владой, а остался у Влада. Она целовала его, а он называл ее так же "мышкой". Но все кончилось очень быстро, и когда Саблин засовывал растрепанный кредитный билет Влада за корсет, ему было не совестно, и Влада, смеясь, говорила, что это "на булавки".

Все это было пошло, но Саблин не мог не осознать, что это удивительно удобно, ничего не шокировало и не марало мундира полка. Но после этого жизнь стала еще скучнее и еще больше хотелось выйти из ее теней и поставить ее идейно.

Он вспомнил Ламбина. Надо стать таким, как он. Надо серьезно изучить свое ремесло. Стать близко к солдату, узнать его душу и тогда сознательно воспитывать в беспредельной преданности Государю Императору. Это чувство любви к Государю осталось неизбежно прекрасным, и мечта о нем радостно волновала сердце, и мысли о нем были святыми.

Подумал — не идти ли в академию. Академия в полку была не в моде. Туда шли большие артиллеристы, саперы, армейская пехота — семейные люди. Шли от голода. Но Саблин пойдет — идейно. Чтобы расширить горизонт своих знаний и стать образованным офицером.

Он достал программу, книги. Просмотрел. Учить пришлось бы всю историю, начиная с древней, по Иловайскому. Повторять все эти сказки про Периклоса, Агезилаев, Алкивиадов. Потом требовалось изложить квадратные и кубические корни, снова ознакомиться с таблицей логарифмов, решать задачу о двух курьерах и светящихся точках. Нужно было по немоу карте угадывать реки России и называть города и губернии... Все это показалось скучным и бессмысленным для того, что он хотел знать, и он отложил академию до лучших времен.

"Буду учиться у Ламбина и у жизни, — думал Саблин, — войду в солдатскую семью, буду изучать ее на месте в эскадроне, заведу дружбу с солдатами, заставлю их открыть свою душу".

Саблин вспомнил всегда почтительного унтер-офицера Балатуева, на все отвечающего готовыми ответами: "Так точно", "Никак нет", "Не могу знать", "Не солдатское дело", вспомнил тупого Артемова. Тот только потел и молчал при разговоре на вольные темы "с его благородием", и мука отражалась на его лице.

"А Любовин? Любовин — солдат и в то же время свой человек — образованный. Любовин станет мостом. По нему Саблин пройдет в солдатскую среду и станет другим солдат. Они говорили же про песни, и как умно и хорошо говорил Любовин. Любовин от него узнал ноты, и Саблин научил его многим хорошим нотным песням. Теперь при помощи Любовина он сблизится со всем взводом. Узнает душу солдатскую и научится влиять на нее. Вот когда он станет настоящим офицером. Манцев не будет смеяться над ним. Он

сделает целые открытия в этой области, где еще никто не занимался".

Саблин бросил книгу, над которой задумался, в два глотка допил холодный чай, вскочил с дивана и пошел в эскадрон.

В эскадроне было пусто и прохладно. Все окна были открыты настежь. Матрацы, одеяла и подушки вынесены во двор. Кровати стояли, открыв свои доски, и имели скучный, иежилой вид. Дежурный бойко отработовал Саблину, и эхо вторило ему в пустом зале. Человек двенадцать солдат, мывших полы, вытянулись с мокрыми тряпками в руках, и с тряпок текла и струилась мутная грязная вода.

— Где Любовин? — спросил Саблин.

— В эскадронной канцелярии, — отвечал дежурный.

Саблин прошел в конец казармы и открыл большую дверь, ведущую в маленькую комнату. Это была эскадронная канцелярия. После ярко освещенной сентябрьским солнцем казармы в ней показалось темно. Воздух был спертый. Пахло чем-то кислым. Любовин был один. Он корпел над громадным провантским листом, сводя по нему расход капусты, гороха, лука и т. п. Он ие хотя встал и негромко ответил на приветствие, проглатывая "ваше благородие". Саблин сел на нагретый табурет Любовина и отпустил сопровождавшего его дежурного. Они остались один с глазу на глаз с Любовиным, и Саблину под пастойчивым любопытным взглядом солдата стало неловко.

"С чего начать?", — подумал он. Любовин стоял, опустив руки по швам, и видно было, что его это утомляло.

— Любовин, я пришел к вам, — неожиданно для самого себя переходя на "вы", сказал Саблин, — за советом.

Удивление выразилось в карих глазах Любовина. Он согнул ногу в колене и заложил руки за спину. Саблина это покорило, но он промолчал. Пришел он с сердечной беседой, и "формальности" и "руки по швам" здесь, пожалуй, были бы не у места. Он бы даже посадил Любовина, но в маленькой канцелярии был всего один табурет.

Любовин молчал, и Саблина это мучило.

— Да, — продолжал он. — За советом. Вы живете в эскадроне одной жизнью с солдатами, вы их знаете хорошо. Я офицер. Вместе умирать будем, — сам не понимая для чего, сказал Саблин и почувствовал всю неуместность этих слов. — А между тем, мы далеки друг от друга. Солдаты не знают меня, я не знаю их. А мы — братья. Мы братья не только по Христу, как все люди, но братья по полку, так как под одним святым штандартом присягали и одному Государю служим. Вот я и хотел бы, чтобы вы помогли мне стать и

* Продолжение. Начало в № 4.

такие отношения к солдату, чтобы мы стали не чужими, а родными. Как братья. И я знал бы все, что таится в их душе.

Любовин смотрел недоброжелательно на Саблина. Ему показалось, что Саблин пришел в целях сыска и шпионажа и хочет воспользоваться для этого им, Любовиным. Он посмотрел на открытое, честное лицо Саблина, в его ясные глаза, не умеющие лгать, и понял, что Саблин имеет не худые намерения.

— Это, ваше благородие, невозможно, — тихо сказал он.

— Но почему? На службе, в строю, мы будем — офицеры и солдаты, а вне службы — товарищи.

— Вот это-то и невозможно, — повторил Любовин. — Вы — барин, они темные и серые люди. Они вас боятся.

— Но теперь крепостного права нет, и все люди вольные. Какие же теперь бары?

— Слишком вы разные. Чтобы вы стали товарищами, чтобы вы могли в полной отчетливости понять солдата, а солдат понял бы вас, надо, чтобы вы стали одинаковыми. Или вы спустились бы до солдата, или солдат поднялся бы до вас.

— Я не понимаю вас, Любовин.

— Извольте, я вам сейчас объясню. Это все, ваше благородие, формально начинается. Приходите вы в эскадрон. Корнет Робтек командует вам: "Смирно!" Вы сейчас это с корнетом Робтеком за ручку. Наше вам почтение, мол. Разговор. Где вчера были? Как опера или там девица какая. А солдатам: "Здорово, ребята". Да смотрите, чтобы ответ громкий был и головы на вас повернуты были. Солдат это чувствует. Вот если бы вы ему ручку, да как, мол, Павел Иванович, иочку провели, — он почувствовал бы, что стены-то нет. Возьмем далее. Какой разговор у вас с солдатом? "Какой губернии?" — "Вятской, ваше благородие" — "А уезда, волости? Родители есть? Чем занимаются?" — Ну, точноследователь или ставовой выспрашиваете. Солдат этого не любит. А вы ему про себя расскажите. Вот, мол, как я живу.

Любовин помолчал немного, оставил погу и испытующе посмотрел на Саблина. Саблина совсем стало неловко.

— Да ведь рассказывать-то этого нельзя, — тихо, шепотом сказал Любовин.

— Почему? — еще тише спросил Саблин и почувствовал, как ноги у него точно свинцом налились.

— Жизнь-то не такая... Оберните ее на солдата. Похвалили бы вы его за такую жизнь?... Вот и выходит: одно — для солдата, другое — для вас. И ему про себя никак нельзя сказать вам правду. Ну, как он скажет, что у торговки двугривенный украл, или овса дачу продал булочнику, или коня вилой пырнул, просто так, балуясь. Ведь вы его за это не похвалите. Не посмеетесь с ним вместе:

"Ловко, мол, бестия, устроил. Так, мол, и надо, отчего не побаловаться". Вам это нельзя. Под арест... под суд... Да, может быть, оно так и надо. Вот и стала между вами ложь. А как ее обойдешь? Ни вам солдату правды сказать, ни ему вам. А когда правды между вами нет, — то стала стена, и как ее перелезешь?

— Ну, Любовин, а если, предположим, читать солдатам? — сказал задумчиво Саблин.

— Что же, ваше благородие, дело хорошее. Солдат любит. Только бесполезное это дело. Что вы ему читать будете? Вот поручик Фетисов эту зиму на занятиях словесностью Тараса Бульбу солдатам читал. Солдаты с истинным удовольствием слушали, ну, а польза какая? Никакой. Солдат слушает, а сам думает: "Все это сказка. Вот ладно придумано". Он тут, как малый ребенок. Принесите серьезную газету, почитайте, растолкуйте, вот тут оборот другой будет. Солдата интересует его дело. А его дело какое — коли он крестьянин — земля, коли он рабочий — капитал. Вас он слушать не станет. Да вы ему и не скажете, как это улучшить его положение. Он пойдет к тому, кто его этому научит. Вы для него всегда помещик и капиталист, и между вами — стена.

— Но, Любовин, как это так? Значит, вы в основу всего ставите социальные отношения?

— Так точно, ваше благородие. Прежде равенство, потом братство. А ведь у нас какое равенство? Даже перед законом и то равенства нет. Для солдата закон один, для офицеров — другой. Солдат солдату в морду дал — ну, и ладно, а у вас, если до такого греха дело дошло, — преступление. Дуэль! Если кто из господ на службу проспит — пустяки, а нашего брата — под арест. Вот снимите эту стену — тогда и откроется душа солдатская.

— Это невозможно. То, о чем вы говорите, Любовин... Я не знаю, понимаете ли вы? Но ведь это — социализм.

Любовин молчал.

— Любовин, — сказал Саблин, устремляя свой пылкий взор в карие глаза солдата, — тогда, накануне парада в Красном Селе, это были вы, Любовин, кто говорил сомной иочью. Это были ты! — воскликнул, вставая, Саблин.

Любовин спокойно выдержал взгляд Саблина.

— Я не знаю, о чем вы говорите, ваше благородие, — медленно проговорил он, становясь смирно и вытягивая руки по швам.

Гадко, противно и склизко стало на душе у Саблина. Он встал и вышел из канцелярии.

— Ну, каковы? — спросил Степочка, в десятый раз оглядывая внутренний караул, построившийся для смены на главной гауптвахте Зимнего дворца. Полковой закройщик Пантелеев с громадными ножницами в руках и с двумя помощ-

никами со щетками, согнувшись, пагибая свою плешивую седую голову и шурясь, проходил вдоль караула, подравнивая ножницами полы мундиров.

— Пантелеев! Пушилку сними... Не там... У второго с правого фланга. Не видишь, на плече у самого погона?... Так, хороши, говорите вы? — обратился Степочка к дежурному плац-адъютанту, пришедшему, чтобы вести смену.

— Великолепны, полковник. И, знаете, что хорошо? Русская южная красота. Вы замечательно подобрали. У всех маленькие усики. Все, как один, на лицо — кровь с молоком, легкий загар. Тут на прошлой неделе кавалергарцы караул выставляли. Начальником — барон Моренгейм. Вы его знаете. Сажень роста, розовый, безусый, и весь караул такой. Ну, просто парные телята, да и только. Все светловолосые гиганты. А, знаете, мне не понравились. Не русское что-то. Не то немцы, не то чухны. А вот ваши, несмотря на форму, — русские богатыри. Так на картину из сказки и прорастает... Великолепны!.. И офицер — писанный красавец.

— Да, удался.

Степочка взглядом художника, закончившего картину, оглядел еще раз караул, вздохнул и спросил плац-адъютанта:

— Что же, пора вести?

Плац-адъютант посмотрел на часы и ответил:

— Нет, еще полторы минуты. Командант будет на смене и может быть великий князь. Вчера казачьего начальника караула на трое суток на губу отправили. По Певскому вел караул мимо дворца. На левом фланге казак не в ногу шел. Беда с этими людьми.

— Красоты не понимают.

— В ней родиться надо, полковник.

Плац-адъютант взглянул на часы и сказал торжественно:

— Ведите.

Степочка еще раз вздохнул. Ему тяжело было расстаться с людьми, любонно им подобранными из всего полка, тщательно вымуштрованными и одетыми в парочно спитые мундиры.

— Ведите, корнет Саблин, — сказал он устало.

Саблин вышел по уставу перед караулом и держанным, ровным тоном скомандовал:

— Караул! Палаш — вон. На пра-по... Шагом марш!

Степочка крестил караул и осматривал каждого солдата любовным восторженным взглядом. Высокие блестящие сабли дружно скрипели, позванивали шпоры, и караул шел, держа палаш у плеча. Он прошел мимо подивившихся солдат пехотного паружного караула, мимо своих кучками сложенных мундиров и шинелей, в которых пришел, свернул на узкую лестницу и на ней растянулся. Входя в светлую галерею, увешанную батальными картинами, правый фланг за-

держался, люди подтянулись, сомкнулись и, ровно скрипя сапогами, стараясь ступить на носках, вошли в громадный Николаевский зал. Кавалергардский караул выстроился навстречу, и мальчик-офицер детским голосом скомандовал: "Палаша — вон!".

Саблин заводил свой караул плечом. Граф Адлербург, комендант, знаток этого дела, и великий князь стояли у дверей и смотрели на смену караулов. Волнение охватило Саблина. Все было просто, проще любой фигуры кадры, а вот волновался, боялся напутать, не то скомандовать. Караулы стали друг против друга. Действительно, караул Саблина был — картина. Это была выставка русской мужской красоты и, может быть, ни одно государство в мире не могло бы похвастаться таких одинаковых людей, в которых красота и изящество черт, тонкие носы, маленькие усики, большие глаза, опущенные длинными ресницами, зашпунтованные вверх, сочетались бы с физической силой, широкой грудью и сильными ногами.

Люди взяли на караул застыли. Только же это — красивые темляки тихо качались под кулаками в белых перчатках. Саблин поднял палаш к подбородку и подошел к середине караула. Маленький кавалергард вышел ему навстречу. Они остановились и опустили палаша к носкам.

— Корнет Саблин. Пароль. "Варшава", — тихо, чуть слышно сказал Саблин.

— Корнет Шестаков, — также тихо ответил кавалергардский офицер.

Оба одновременно подняли палаша к подбородку, отчетливо повернулись кругом, мягко целкнули шпорами и отошли к своим караулам. Они священно действовали. Блестящие полы штучного паркета, портрет Государя Николая Павловича на шпедом коне, так написанный, что где бы ни был зритель в зале, откуда бы ни смотрел, все казалось, что Государь скачет и смотрит прямо на него, громадное помещение, люстры из бронзы, увешанные хрустальными подвесками, — все это поднимало дух. Здесь не ляжешь спать, не станешь бегать и кричать, и люди здесь казались не людьми, а часовыми и караулом, названным охранять священную особу Государя.

Караул Саблина заступил на место кавалергарда. Кавалергарды вышли из зала. Смена кончилась. Парные часики стали у дверей. Великий князь, комендант и плац-адъютант, вполне довольные правильностью и точностью смены, ушли из зала. Солдаты сели в особые дубовые кресла, где сидеть было неудобно. Они сидели, как изваяния. Каски тускло мерцали, затененные стеною. Лакей в красном кафтане, обшитом позументом с черными государственными гербами, подошел к маленькому креслу с золотыми ножками и почтительным шепотом доложил Саблину: "Сейчас подам нам френчпика!".

Саблину не хотелось есть. Люди караула, си-

девшие сзади и внимательно смотревшие, что подавали и что ел их офицер во дворце у Государя, стеснялись. Было подано красное вино в хрустальном графине, но Саблин к нему не притронулся. Он совестился людей караула. Он ел суп крем д асперж, котлетки де волявил, обернутые гофрированными бумажками, рисовое сладкое пирожное, ему поставили вазочку с яблоком, грушей и виноградом.

Опять чувствовалась разница между ним и его солдатами. Псевольно вспомнились разговоры с Любовиным осенью после маневров, и чувствовалось, что невозможно сойтись на равную, братскую ногу. Он был гостем у Государя, и Государь кормил его со своего стола. Они были слуги. Им привезли из полка не обед, а горячую пищу в котле, закутанном сукном, и они по очереди ходили есть на главную гауптвахту.

В зале было тихо. У дверей дремотно сидели лакеи, неподвижно стояли часовые. С Невы, зачерашней и покрытой снегом, тянуло холодом. Слышался по торцу, подсыпанному снегом, топот лошадей. Столица жила своей жизнью. Здесь жизнь давно застыла, и, казалось, зал был полон призраками прошлого.

Странно было сознавать, что в двадцати шагах, по ту сторону зала тянется прекрасная Помпеевская галерея, увешанная картинами кисти Рубо, Дмитриева-Оренбургского, Кипренки, изображающими войну 1877-1878 годов, и нельзя подойти посмотреть эти картины. Там, в середине галереи, устроено чудо Семирамиды — большой зимний сад во втором этаже, растут лаванды, весенние пальмы, музы, висят причудливые орхидеи, а войти туда нельзя.

Нельзя отойти от караула. И войти Саблин может только в сопровождаемый трубача. Он охранял Государя, но он не видел его. Он знал, что квартира Государя, называемая "интернированными покоями" находится за Фельдмаршевским залом, где стоят казаки, что там будет коридор, в коридоре высокие двери, где стоят часовые пехотного караула, там же стоят часовые казаки, там же бродят, мягко ступая сапогами без каблуков, конвойцы и сидят члены дворцовой полиции. Громадный дворец полон людьми, стоящими на постах, и в то же время пуст до ушнания. В двери видна зима, и еще зима, и входу у дверей лакеи, кое-где парные часовые, и никого, живущего во дворце. Было жутко от тишины мертвых стен, нарушаемой тихими крадущимися шагами да негромким, точно испуганным, кашлем. Пройдет пропорными шагами скороход, но и он не похож на живого человека. Круглая шляпа с белыми, желтыми, черными страусовыми перьями, черный расшитый золотыми лентами кафтан, белые брюки в обтяжку до колен, высокие чулки и черные башмаки с бантами делали его похожим на тень прошлого или на слугу из сказки Перро.

Зимний день проходил. Всего четыре часа — а уже густели сумерки в высоких углах белой с золотом мраморной залы, со стенами, увешанными серебряными и золотыми блюдами. Каждое блюдо было образцом чеканного и граверного искусства, каждое блюдо имело свою историю любви и преданности Монарху. На этих блюдах города и губернии, земства и крестьяне, дворяне и купцы подносили своему Государю хлеб-соль. На них искусной чеканкой и резьбой были парисованы целые сцены, виды городов и эмблемы...

Они тускло светились в надвинувшихся сумерках и вдруг потонули. Вспыхнули кое-где по зале электрические лампочки, засветилось несколько свечей в центральной люстре, но не рассеяли мрака. Холодно и жутко стало в громадной зале.

На столе перед Саблиным поставили керосиновую лампу под абажуром. Подали обед...

День проходил. Ночь надвигалась на тихий лютень.

Полна была призраками ночь. Саблин вспомнил рассказ о том, что незадолго до смерти Анны Иоанновны ее тень явилась во дворец. Она вышла из дверей запасной половины в тронную залу и медленно стал ходить в зале взад и вперед, ни на кого не обращая внимания. Она была так ясно видна, что караульный офицер вызвал караул в ружье. Императрица прошла мимо, внимательно оглядывая обомлевших от страха часовых, и кинула голову офицеру.

Этот случай был записан в истории того полка, от которого был караул. Все люди караула под присягой подтвердили, что они видели тень-двойник императрицы.

Что удивительного, что это было? Было бы удивительней, если бы такие вещи не могли быть, когда здесь во дворце все необычно и непохоже на жизнь. Здесь жили монархи, и отсюда управлялась ими вся великая Россия!

Здесь умерла императрица Екатерина II, переносившаяся с Вольтером, принимавшая у себя великих людей своей эпохи, сказочная царица, воспетая Державиным. Здесь ходили в пудренных париках, здесь говорили комплименты, и грубые дворяне русских степей учились здесь французскому придворному лоску. Здесь безумный император Павел соединил гробы императора Петра III и Екатерины II, и два враждебных мертвеца свдслись здесь на глазах у многочисленных подданных. Сюда приехал из Гатчины Павел с Аракчеевым заводить свои порядки. Отсюда мистик Александр I писал письма Наполеону. Сюда призвал император Николай I Рылеву и отсюда отправил его на виселицу. Здесь умерал, в луже крови, с разбитыми ногами, Царь-Мученик, кровью заглотивший за то, что дал свободу миллионам рабов.

Кровь... кровь... Кровь была кругом. Кровь страшных войн, здесь подписанных, кровь эшафотов и виселиц, смертных приговоров, здесь утвержденных.

Саблин сидел в кресле, и дремота не могла им овладеть. Страшно было. Здесь раздался взрыв, и караул Финляндского полка обратился в кучу трупов и стонущих изломанных людей, залитых кровью и осыпанных обломками камней и штукатуркой.

Каждую минуту, каждый час опасность грозит Государю. За что? Только за то, что он Государь. Только за то, что он имел несчастье родиться от королевских особ и взять на себя тяжелый крест и бремя власти. Сотни людей охотятся за ним, учреждаются тайные общества, чтобы уничтожить его, и с ним погубить Россию.

И в этих покоях нет покоя!

Там, за дверьми красного дерева, украшенными бронзой, в парадной спальне спит молодая Императрица. Как ей должно быть холодно и жутко в этой чужой стране, с чужими людьми и чужим языком!

Саблин видел ее, высокую, холодную, с русыми золотистыми волосами, с нежным румянцем и с серыми большими глазами... Прекрасную...

Спит ли она теперь в этом чужом дворце, в зимнем холоде северной столицы? Фели не спит, о чем думает? Томят ли ее страшные призраки и мысли о вечной опасности, о неумолимом преследовании диких чужих людей и не дают ей покоя? Или забылась и спит крепким сном, не думая о новой, непонятной жизни?..

И вдруг дворец наполнится шумом и гамом, бегущими людьми, затрепетают выстрелы часовых, отдаваясь глухим эхом, и здесь начнется страшная война за Государя?

Он, Саблин, сумеет умереть за Государя. Он считает это счастьем для себя... А как они?

Саблин встал с кресла и прошел вдоль караула.

Они сидели, как изваяния, положив руки на колени в белых перчатках, и дремали. Хотел спросить их и не знал, как спросить и что спросить!.. Поймут ли его тревогу?

Саблин подошел к громадному окну. Невы была пуста. Луна светила с парчового неба. Сверкал шпиль Петропавловского собора, и Ангел, повисший на нем, казался страшным видением. Ветер несл по небу по Неве, и казалось, что тени прошлого бегут с нею от крепости к дворцу. Как странно было устроить усыпальницу царей — и рядом казематы государственных преступников. Слышат ли спящие там набальзамированные монархи выстрелы при расстреле преступников и предсмертный шепот людей, отправляемых на виселицу? Слышат ли грек барабаны?

Куранты заиграли на соборе. Их слышит в

своей спальне Императрица. Как-то отзывается их печальный перезвон в ее одинокой душе?

Точно тени отделились от Иоанновских ворот и понеслись к дворцу. Тени императоров спешили ко дворцу. За ними гнались тени тех, кто жизнь отдал, чтобы погубить Россию. Восторженный поэт Рылев, именники-офицеры Пестель и Муравьев... Желябов, Рысakov и сотни других. Может ли его караул бороться с призраками?

Набережная точно вымерла. Ни одного извозчика или пешехода не было на ней. Группа странно одетых людей, точно идущих с маскарада, без дороги, шла по глубокому не засажившему снегу через Неву. Впереди высокий человек в треугольной шляпе, кафтане и ботфортах с раструбами и с тяжелой тростью в руках. За ним дамы в роборах и фижамах, в белых париках. Дальше мундиры с лацканами, в исконные воротники, шитые золотом. Сзади всех четыре служителя в красных кафтанах несли красного генерала с седящими бакенбардами. Лица всех были прозрачно белы. Когда они подошли ближе и стали подниматься на набережную по гранитным ступеням, Саблин увидал, что глаза их закрыты: это шли мертвецы. Они вошли во дворец. Стал слышен шум их торжественных шагов, приближавшихся к дверям в зале. Саблин хотел крикнуть караулу: "В ружье" — и не мог. Синицовая тяжесть разлилась потелу. Сонм призраков вривался в зал. Громко треснула дверь... Саблин проснулся.

Он сидел на стуле у окна и спал в псудобной позе. Солдат караула уронил каску, и ее стук разбудил Саблина. В зале был полумрак. Тускло горели по углам и в люстре редкие электрические лампочки. Неподвижно, тяжело вздыхая, сидели люди караула. В соседней зале кто-то сдержанно, хрипло, но нечистому кашлем. Саблин взглянул в окно. Месяц стоял на том же месте. Тускло блистал купол Петропавловского собора. Мстель курила по Неве. На Мытной набережной, в пятнадцатом доме, светило одно далекое окно.

Какой-то человек два раза прошел взад и вперед по набережной, заглядывая в окна и беспокойно озираясь. Он был, несмотря на зиму, в одном распахнутом пальто. Из-под него вытеслась темно-синяя рубашка. Большой финский нож висел спереди на ремне, и два револьвера были с боков. Человек в черной шляпе решительно подошел к окну, где был Саблин, скинул пальто и быстро и ловко, как обезьяна, цепляясь за выступы украшения дворца, полез по водосточной трубе. Саблин не шевелился и ждал. Странное ощущение овладело им. Человек дошел до окна и устался вплотную к лицу Саблина тусклыми светлыми глазами. Он с испуганностью смотрел на Саблина и что-то говорил. Саблин не шевелился. Человек вынул из кармана алмаз и стал резать стекло, осторожно надавливая его пальцами и не сводя срывных злобных глаз с Саблина. Только стек-

ло отделяло их друг от друга. Вдруг он пошатнулся, потерял равновесие, взмахнул рукой с алмазом и полетел вниз. Саблин услышал, как глухо, словно мешок с мукой, ударились его тело о гранитные плиты тротуара... и проснулся. Он понял, что сон продолжится, и он тогда не проснулся, а только видел во сне, что проснулся.

Голова была тяжелая. Он сидел на стуле у окна. Начинало светать. Дит казака с головой, закутанными башлыками, просекали верхом по набережной, и копыта их лошадей гулко стучали по тротуару, покрытому снегом. Дворец охранялся кругом. Казаки проверяли пехотных часовых. В коридоре, у дверей квартиры Государя, слышались тихий, спокойный шум. Сменялись часовые. Там стояли казаки, конвойцы, пехота и полиция. Все следили друг за другом.

Жутко стало Саблину. Жутко за Государя, так тщательно охраняемого и не могущего никому верить, не знающего, кто, когда и как его предаст!!!

Светало... На улице дворники в серых одинаковых, русского покроя, кафтанях скребли павели и стреляли снег в кучи. Был сильный мороз. От людей шел пар, и лица их были страшны. Приехали сани с койками для снега. Лошади стояли, когда вздыхали, белые струи вылетали из поздней. В зале было холодно. Часовые ежались у дверей. У Саблина стыли руки. Лампочки потасили. Блестящий свет входил в залу, и блестели паркет и блюда.

Зала вдруг наполнилась людьми в красивых рубашках и синих шароварах. Они стали шипать полы. Это пришли полотеры. А может Саблин ругаться, что между полотерами нет того человека с бледным лицом и серыми, горящими печеловеческою злобою глазами, которого он видел во сне?

Полотеры молча делали свое дело. Они быстро прошли всею артелью по зале и исчезли.

Прошли два скорохода. Один нес раскаленную жаровню, а другой поливал на нее душистый уксус. Уксус с шипением дымился, и по зале пахло чем-то сладким. Так пахло при Александре, Николае, Александре Благословенном, Павле, Екатерине. Быть может, такое же курение было у царей московских в их дворцах-теремах.

Саблину подали чай. Четыре человека, просто одетых, в сопровождении лакея пронесли громадные корзины с цветущими гиацинтами. Лакей посмотрел на Саблина и многозначительным шепотом сказал ему: "В покои Государыни Императрицы".

Сладкий запах гиацинтов остался на несколько минут в зале и напочил Саблина бело-розовое тело Китти.

Без пяти минут однанадцатая, через тилу почти бегом пробежал старенький лакей в красном каф-

тане и почтительно-тревожно проговорил Саблину: "Государь Император".

Опять то же волнение, те же страх и восторг, что на параде и маневрах, заставили шибко забиться сердце Саблина.

За два зала мерно и четко ответили на приветствие люди из казачьего караула.

Из арки под портретом вышел Государь. Он был в длинном пехотном сюртуке, при шашке, шароварах и в высоких шагреновых сапогах. На голове была чуть избок надета фуражка. Он шел на прогулку... Шел один.

Саблин, волнуясь, ироничным голосом командовал построенному караулу: "Слушай, ни караул!" — и замер, опустив шашку и смотря прямо в глаза Государю. "Если Государь остановится, — думал Саблин, — я должен сейчас же рапортовать". И мысленно повторял рапорт, чтобы не сбиться: "В карауле и на постах вашего Императорского Величества от..."

Но Государь не остановился. Он ласково моргнул глазами Саблину и сказал на ходу: "Здорово, караул!". Солдаты сдержанными голосами, как их учили отвечать во дворце, ответили: "Здравия желаем Вашему Императорскому Величеству!" — И не успело эхо их голосов затихнуть по углам зала, как уже Государь скрылся за дверью в Малахитовый зал.

То, что Государь шел на прогулку, в сюртуке, один, казалось как-то слишком обыденным, не подходящим для его величия, но было и что-то трогательное в его появлении здесь, в зале, в одиннадцатый час утра. Если бы он не прошел, было бы скучно вспоминать все напряжение караула, бессонную, полную призраков и кошмаров ночь. Теперь все это скрашено ласковым взглядом серых глаз и ровным спокойным голосом привет.

В двенадцать часов пришла смена. Саблин опять спяшно действовал, но теперь никто, кроме дежурного плац-адъютанта, не смотрел на него. Великого князя не было во дворце, а комендант был на смене пехотного караула. Полный, с черной бородкой на сытом холщевом лице кавалергардский ротмистр сменялся небрежно. Он опоздал командовать "на караул" и, проглатывая слова, несено представился и долго не мог вспомнить пароля.

— Пароль, — говорил он, — пароль, ах, как забыть его, вот черт... У меня на бумажке записано... Пароль: "Гельсингфорс".

От этого пропадала торжественность и сказочность обстановки. Краски блекли, и все уже казалось обыденным, будничным и далеко не столь важным.

В час дня люди, переодетые в старые мундиры и шинели, шли с Саблиным в казармы. Они были голодны и торопились к обеду. Был сильный мороз и солнце. Снег скрипел под мерными шагами солдат, и в такт звенели шпоры.

От всей сказки караула подле покоев Царственной четы, от блеска и таинственных призраков зала осталось одно физическое утомление и страстное желание скинуть каску, снять с измученного тела тесный мундир и амуницию, броситься в постель и спать, спать!..

Любовин принес Коржикову пакет от Центрального комитета. Ни Федора Федоровича, ни Виктора не было дома. Пакет был в "собственные руки", и Любовин решил подождать.

Было лето. За окном толкались в воздухе и ровно и скучно жужжали мухи, со двора густо пахло коровьим навозом, в поле звонко перекликались швейцарки. Любовин сидел за столом у окна и машинально перебирал тетради в синей обложке с записками Виктора.

На одной он прочел слова: "Важно, глубоко и верно. Руководствоваться в жизни".

"Чем может руководствоваться в жизни этот шалопай, мальчишка, сын юриста Саблина и моей сестры Маруси, — подумал Любовин. — У него, кажется, есть только одно руководство: "Я хочу" — и ничего другого он не признает."

Он надел на нос очки. С годами он стал дальновиднее и без очков не мог читать.

"...Люди — животные, — читал он в тетради, — имеющие вид человека для лучшего служения и большей славы Израиля, ибо не подобает сыну царю, чтобы ему служили животные в образе животных, но животные в образе человека." Мидраш Талмуд.

"...Возвысьте и станьте, как Израиль. По заслугам воздастся тому, кто в силах освободиться от врагов еврейства. Навеки прославится тот, кто сумеет избавиться от них и сокрушить их". Зогар.

"...Победить мир? Войной с обществом людей, не покладая рук, пока не установится должный порядок, все земные народы не станут рабами твоими". Зогар.

"...Лучшего из живых умертви, лучшей из змей раздоби мот". Мехильта.

"...Справедливейшего из безбожников лиши жизни". Софорим.

"...Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

"...В борьбе обретишь ты право свое".

"...И если вошь кричит в твоей рубашке, возьми и убей!.. Убей!.. Убей!.. — Ропшин (Борис Свинков).

Любовин снял очки, отодвинул от себя тетрадь и глубоко задумался. Пот прошибал его, внутри что-то тянуло, и холодная тоска вползала в сердце.

"Вот оно что! — подумал он. — Вот почему наверху все евреи. И Троцкий, недавно уехавший по какому-то делу в Америку и бывший вместе с Виктором в Неаполе, и Зиновьев, и Радек, и все, все вожди — евреи. Один Ленин как будто не еврей... Как будто! Но ведь Федор Федорович и

Виктор не евреи, однако как чит Виктор эту еврейскую мудрость Талмуда и Каббалы! Какое странное сходство между изречениями древнего еврейства и теми лозунгами, под которыми идет наша партия".

Любовин закрыл ладонями лицо и крепко прижал глаза пальцами. Огненные искры, фиолетовые и красивые линии побежали перед глазами, и ему стало казаться, что кто-то сильный, могущественный схватил его и тянет в черную длинную яму, подобную сточной трубе, и не вырваться ему оттуда.

Шум отворяемой двери и стук шагов заставили его очнуться. Коржиков поднимался по лестнице. Он был как будто чем-то озабочен.

— А, Виктор Михайлович, — рассеянно сказал он. — С пакетом. — Он словно ожидал этого пакета. Непривычно дрожащими руками схватил данный ему Любовиным пакет и вскрыл. Лицо его темнело по мере того, как он читал содержание письма. Привыкший скрывать свои мысли, он теперь не скрывал или не мог скрыть своего глубокого волнения.

— Ну, — со вздохом проговорил он. — Пусть будет так!.. Жребий брошен... Все равно, когда-нибудь надо было начинать... Вы знаете, Виктор Михайлович, Германия, а потом Австрия объявили России войну, Франция объявила войну Германии, на очереди объявление войны Англии и, может быть, Италии... Европа а огне.

— Как же быть?.. Федор Федорович, ведь это значит... Мобилизация... Я запасной солдат.

— Вы дезертир, — сказал, смотря прямо в глаза Любовину, Коржиков, сурово улыбаясь.

— Федор Федорович, но... Родина в опасности.

— Родина... — сказал Коржиков, — родина. Бросьте, Виктор Михайлович. Вы читали Маркса и Энгельса?.. Усвоили?

— Смутно все... Вот теперь эта тетрадь у Виктора...

— Какая тетрадь? Любовин подал записки Виктора.

— Ну, что же? — Так ведь это, Федор Федорович, — жида.

— Сколько раз я говорил вам, Виктор Михайлович, чтобы вы так не называли евреев. Это ругательное и оскорбительное для еврейского народа слово. Это народ, достойный всяческого уважения.

— Я сопоставлял, Федор Федорович... У меня тут целое открытие.

— Америку открыли? — Вы смеетесь, а мне страшно.

— В бредни о масонах, что распространяют черносотенцы, уверовали? Недаром я видал, как вы зачитывались "Сионскими протоколами". Но ведь вы знаете, что они подложны?

— Совершенно верно-с. Подложны-с. Но

мысли, мысли не подложны. А теперь эта тетрадка. Наверху у вас все жиды-с... евреи-с. Маркс — еврей, Троцкий, Зиновьев, Радек, все — опи-с.

— Но позвольте, дорогой Виктор Михайлович, во главе нашей партии — Ленин, — не еврей.

— Кто его знает. Я уже сомневаюсь.

— Плеханова, надеюсь, вы не подозреваете?

— Но в 1903 году на лондонском съезде Плеханов вышел из партии. Партия раскололась... И смотрите, выписки у Вити. Неужели это программа? Ведь это уничтожение христиан. И подумайте, так и было. Убивали лучших. Императора Александра II весь народ обожал — а убили-с... Возьмите опять — Столыпин... Что же, разве хутора не правились крестьянам?... Убили...

— Эк вы, какую песню запели... И в какое время! Ну, слушайте. Повторим уроки социализма.

Коржиков сел за стол, взял тетрадку Виктора и, глядя прямо в глаза Любовину, заговорил тоном учителя, затверживающего урок.

— Что такое государство? Энгельс определяет: государство есть форма организованного властвования одного класса над другим. Что же нужно для свободы угнетаемого класса, то есть — пролетариата? Пролетариат должен организовать такой порядок производства, при котором прекращается деление общества на классы с непримиримыми враждующими интересами. С уничтожением классового деления исчезает и форма насильственного подчинения одного класса другому — государство. Государство становится ненужным и отмирает. Усвоили?

— Туманно немного. Главное, несерьезно. Я боюсь, что вот это оно самое и есть, что написано у Вити.

— Что такое?

— Позвольте тетрадку... Вот, извольте видеть. "Я говорю о победе над миром. Войю с обществом людей, не покладая рук, пока не установится должный порядок, пока все земные народы не станут рабами гноими". Так писано в Зога-ре. Вот я и думаю. Государство исчезнет, и люди станут рабами у еврейства, станут животными в образе человека, как сказал Мидраш Галыиот.

— Сказки черносотенца Нилуса.

— Нет, Федор Федорович, что написано в тетрадке у Вити во время поездки в Пеаполь, где он всей этой премудрости обучался.

— Просто случайные выписки любознательного мальчика.

— Совпадения страннее.

— Бросьте вы это. Слушайте дальше. Ленин, разбирая это положение Энгельса, спрашивает: каким путем пролетариат достигнет своей цели? И отвечает: прежде всего путем превращения из класса подчиненного в класс господствующий. Он устраивает диктатуру пролетариата, берет в свои руки власть и черачи насильно держит в сво-

ем полном подчинении извергнутый, но еще бо-роющийся класс эксплуататоров. Усвоили?

— Трудно это все. Значит — царя долой, и кто вместо него?

— Да хотя бы любая кухарка.

— Кухарка... А если эти самые... евреи?... Вот сколько их сюда понаехало, и со всего света... Потом, Федор Федорович, легко сказать: превратится из класса подчиненного в класс господствующий. Да, сделаете-то как? Ну, как я, к примеру, в эскадроне стану на место Гринченки?... Даже подумать страшно.

— Эк! Забыть не можете капральской палки! А война на что?... Вы понимаете, война уже началась!

— Война?... Да разве вы?

Любовин широко раскрытыми глазами смотрел на Коржикова. Он давно видел, что партия многочисленна, что у нее связи со всем светом, но никогда он не подозревал, чтобы она была так могущественна, чтобы мир и война были в ее власти.

— Ну что вы!.. Эк вы какой! Император Вильгельм объявил войну России. Император Франц Иосиф объявил войну Сербии. В Сараеве убили австрийского принца. Ну, что же! Яблоко падает на землю не оттого, что земля имеет тяжесть, а оттого, что оно созрело и стебелек высох и умер, созрела и война... Да... В Центральном исполнительном комитете партии постановлено, что с точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом будет поражение царской монархии и ее войск.

— То есть... Я не понимаю вас... — сказал Любовин и даже встал из-за стола и стоял, стисывая и разгибая тетрадь Виктора.

— Чудак вы. Для нас выйдете, чтобы Россия была побеждена.

— Россия?... побеждена?... немцами?..

Любовин вдруг ярко представил себе последний парад в Красном Селе. Солнце играет на царственном лице Монарха. Генерал Древениц на большой сытой лошади галопом, с поднятой шашкой, заскакивает к Государю. Рослые, красные люди, молодец к молодцу, на подбор, на прекрасных лошадях скачут галопом, и пикн с флюгерами колеблется в их руках. Перед Любовиным скачет в передней шеренге красивый Дыбенко, солдат с нежной, как у девушки, душой, мечтающий вернуться домой, жениться и жить своею тихою, счастливою крестьянскою жизнью на хуторе под Полтавой, спраша нажимают на ногу Любовина литовец Адамайлис, и у него есть тоже свое тихое счастье. Впереди стройная фигура корнета Саблина. Гремит музыка. По всему полю выдвинуты расходящиеся полки пехоты, рослых, красивых, сильных людей... Русских... Они будут побеждены, они будут покорены немцами во имя того, чтобы во главе государства вместо императора Николая II, сияющего солнцем, стала кухар-

ка или... жиды... или Ленин. И все это предвидено, все рассчитано теперь, когда война только что началась.

Туман пошел перед глазами Любовина. Он не видел уже бледного лица Коржикова, не тронутого летним загаром, и его маленькой рыжей бородки. В ушах настойчиво звучал величественный Русский гимн и слышался воркующий грохот полковых литавр. Как издали доносились до него четкие фразы длинной речи Коржикова.

— Маркс говорит: "Исполнительная власть с ее чудовищной бюрократической и военной организацией, с ее широко раскрытым и искусственным государственным аппаратом, армией чиновников в полмиллиона наряду с военной армией в другие полмиллиона — это страшное паразитическое гнездо, подобно гангрене, обвивающей вокруг общества и закупоривающей все его поры, возникла в период абсолютной монархии, при гниении феодализма во Франции", я добавлю: при крепостном праве в России. Маркс требует разрушения этой бюрократическо-милитаристической машины. Маркс напоминает, что первым декретом Коммуны упразднена постоянное войско и заменяла его всеобщим вооружением народа. Коммуна образовалась из городских советов, избранных в различных округах Парижа на основе всеобщего избирательного права. Они были ответственны и могли быть во всякое время отозваны. Большинство их состояло, само собою разумеется, из рабочих или признанных представителей рабочего класса. Потенция, до тех пор инструмент государственной власти, тотчас же была лишена всех своих политических функций и была превращена в ответственное и во всякое время сменяемое оружие Коммуны, точно так же и чиновники всех ведомств. И пришло же это к Наполеону и империализму, который не изжит Францией и до сего времени. Усвоили?

Любовин молчал. Свои мысли бродили в его голове. Петербург и Москва заняты немцами, и жид, жид стоит во главе России! Разве этого хотят Иван Карпович, Дыбенко, Адамайлис, об этом мечтала его милая, кроткая Маруся?! Поражение!.. Какой вадор эта французская революция!

И, точно повторяя его мысли, с силой воскликнул Коржиков:

— Какой вадор эта французская революция, — говорит наш великий поэт Владимир Ильич Ленин. — Пролетариат не может не желать поражения своего отечественного империализма — он должен его добиться. Мы пошлем своих людей в армию и в общество, мы широко используем мобилизацию и мы истребим все то, что носит следы империализма. Если нужно, мы попросту убьем их...

— И лучшего из нас убьют! — прошептал Любовин, но Коржиков, видевший свою решимость, не слышал его.

— Мы, — говорил нам Ленин, — мы усыпим бдительность обманом. Мы вольемся в ряды армии и будем кричать о победе, а вести армию к поражению. И, когда разбита и уничтожена будет Россия, мы вознесемся. Мы назовем подлостью и низостью все поступки высших классов, и мы не остановимся, если нужно, ни перед какою клеветой и ложью... Мы будем кричать, что кругом предательство и измена, и мы назовем всех лакеями и прислужниками старого строя, но у нас будет все: и непревзойденное мужество, и самоотречение, и вот, когда мы выроем эту бездну между правящим классом и народом, мы столкнем правительством и сядем сами. Мы заберем все средства производства из частного обладания в собственность нового государства — так учат Маркс и Энгельс. Ни у кого не будет собственной гнолки, ни у кого не будет своего плуга, но все будет государственное, и люди станут нашим послушным оружием.

— Навек прославится тот, кто сумеет избавиться от врагов еврейства, — так сказано в Зога-ре, — сказал Любовин.

— Вы все свое, бросьте! — крикнул Коржиков, вырывая тетрадку из рук Любовина. — Я вам дело говорю. Это и нас касается. Ленин считает, что первым делом по достижении власти нужно не заниматься парижским бредом или измышлениями социал-предателей и распускать армию, но создать свою армию, этот инструмент власти. На сегодняшнем заседании исполнительного комитета наши роли распределены. Вся наша ячейка получит средства и нужные бумаги и отправится в армию. На Виктора возложена боевая работа. Он, под именем гимназиста Холмской гимназии Виктора Молдаевского, должен отправиться в Заболотье и работать на разрушение казачьих, где можно, истреблять лучших вождей, авторитетных среди казаков лиц. На меня возлагается агитация, распускание полнующих слухов в армии об измене начальствующих лиц, о предательстве и прочем. Вы, Виктор Михайлович, должны устроиться писарем при большом штабе и добывать все сведения и передавать их мне. В наши распоряжение будут отпущены значительные средства.

— Откуда эти деньги? — спросил Любовин и в упор посмотрел на Коржикова.

Пикоты не красневший Коржиков залился краской и резко отстал:

— Это не наше дело. Наше дело исполнять то, что приказано.

— Предательство Рожины... — тихо, качая головой, проговорил Любовин. — Шпионаж и похвально, убийство лучших вождей во время ужаснейшей войны... Это... социализм? Это го учение, которое мы считали выше христианства?!

— Виктор Михайлович, — угрожающе сказал

Коржики, — не забывайте, что вы связаны партийной дисциплиной, и партия сумеет заставить вас молчать.

— И даже навеки, — проговорил Любовин. — Это и называется свободой слова!

Он направился к выходу, но выйти ему не удалось. В распахнувшуюся дверь, не спрашивая разрешения, вскочили юркин, испуганный еврей, лет тридцати пяти, с вьющимся коком бронзовых волос над лбом, в пенсне на носу и с маленькими усиками и рыжей бородкой на бледном исхудалом лице.

— Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ Федор. Ну, и дайте мне пожать вашу руку. О! Какой восторг охватывает мое пламенеющее сердце! Ну и здравствуйте, товарищ Виктор. Ну, и почему вы такой пасмурный, когда наконец мы у порога нашей победы!

Он поздоровался с Коржикиным и Любовиным и стал на фоне окна, опираясь на подоконник и скрестив на груди руки.

— Ой! Как хорошо! Ну, вы, конечно, знаете — уж-же война! Война научит людей презирать жизнь, научит людей убивать. Вы понимаете, это главное, остальное все готово.

— Вы забываете, товарищ Бродман, — сказал Любовин, останавливаясь у двери и принимая ее спинною, — что в сердцах людей есть еще любовь. Война еще не значит — испанить.

Большое чувство зародилось в нем, и жуткая струна звенела в его сердце, казавшемся опустошенным до дна. Точно эта беседа с Коржикиным порвала те последние нити, что оставались в нем и привязывали его к жизни. До этого разговора он все еще верил, что социалисты против смертной казни, против крови и насилия.

— Любовь?.. Странный вы человек, товарищ Виктор. Любовь — это похоть. И вы, интеллигентная русская, вы, писатели русские, давно свалили в помойную яму чувство любви. Вы всегда любите говорить, что это все сделали евреи... Ну, и где же евреи?.. Вы, вероятно, помните "Бездну" Леонида Андреева. А?.. Вы помните, как слонявшие гимназисты читали "Бездну", и "Бездна" кое-кого поглотила?.. А?.. Помните "огарочки" 1905 года, помните русских бледных девушек с подписанными вестками, что отдавались направо и налево, а потом гордо уходили из жизни?.. От "Крейцеровой сонаты" Толстого к "Бездне" Леонида Андреева и "Санину" и "У последней черты" Ариэбашева, — вы видите, это же большая работа!.. Литература — отражение жизни. И Санин — и ценный большевик, и такими мы должны стать.

— Зачем? — глухо спросил Любовин.

— Как зачем? А чтобы наплевать в самое сердце людей, вытравить из него то, что влечет их на подвиги.

— У русского народа с его неприличной ру-

ганью это уже давно сделано, — сказал Любовин.

— Что народ? Стадо скотов! Надо вытравить следы этого рыцарства у тех, кто ведет этот народ, и в этом отношении товарищ Яков прав, — сказал Коржики.

— Но у простого народа есть религия, — сказал Любовин.

Он ненавидел густую страшную ненавистью в эти минуты и Коржикова, и Бродмана.

Бродман засвистал.

— Ну и что вы говорите, товарищ Виктор, смею подобно? Религия?.. Ну, и кто теперь верует?.. Посмотрите, что делается у храмов?.. Внутрь — старики и старухи, а почле — толпа парней и девок. Смех, шутки, ругань, гулянье, деревенский флирт. Ну и это, вы скажете — религия? Вы скажете — русский народ, верующий народ... Ничего подобного. Ну какая деревенская девушка до брака не имела ребенка? И вы скажете после этого: брак — таинство? В русском народе давно нет таинств. Это нам очень хорошо известно.

— Хорошо, — сказал Любовин, — допустим, что все то, о чем мы говорили с Федором Федоровичем сейчас, удастся. Допустим, что мы станем у власти. Кто пойдёт к нам?

— Ну, о чем думать, товарищ Виктор?.. Ну и что, вы не знаете русского народа?.. Это у нас, в России, говорится: было бы болотное место, а черти найдутся, ну, я вам так скажу: явится власть, а подлещи и лакеи революции найдутся... Прикорним... Человек — самое подлое животное в мире, а русский — особенно. И знаете, не только найдутся, но руки будут нам целовать, славословить нас, в газетах такие статьи печатать!

— Кто? — устало спросил Любовин. — Чернь, холун, хамы!

— Нет, товарищ, — с убеждением сказал Бродман, — академики, ученые, вельможи, князья, артисты, писатели.

— Но кто вы такие, что так убежденно говорите: мы, мы. Кто вы такие?

— Я? Я вам-таки прямо отвечу, кто я. Я — жид. Да, жид, которого долги века гнало русское правительство, я человек, слишком знакомый с тем, что называется чертой оседлости. Не вы ли, товарищ Виктор, в гимназии складывали из полы мундира свиное ухо и кричали: "Жид свиное ухо съел!" В университете я должен был попасть в процентную норму, а на Певском во время демонстрации меня казак избил нагайкой только за то, что я жид! Ну, и вы знаете, я поклялся тогда, что будет день, когда молодежь, студенты и гимназисты будут приветствовать меня и носить на руках. Да... И, знаете, эти самые казаки будут повноваться мне, и станицы изберут меня своим почетным казаком. Ну да! И девушки лучшего общества придут ко мне и будут ласкаться, а я буду терзать и мучить у них на глазах их братьев и женихов.

— Вы сами не понимаете того, что говорите! Казаки, денушки...

— Ну и что такого?.. И вы не знаете, что нет предела человеческой подлости!

— Вы мне кажетесь сумасшедшим. Известие о войне опьянило вас.

— Ну и что, товарищ! Ну, и вы слышали — через бездну к звездам, ну, мы устроим — через бездну к звездам! Подойдемте к пучинам и заглянем в самые черные пропасти! Что?.. Раскроем тайну бытия и посмеемся!

— Посмеемся, — глухо и мрачно сказал Коржикин.

Он был чем-то недоволен и все искоса поглядывал своими маленькими глазками на Любовина.

Бродман не унимался. Он все это время ходил взад и вперед по комнате, теперь остановился в углу и скрестил на груди руки в наполеоновской позе. Он, и правда, в эту минуту чувствовал себя каким-то большим и всесильным. Ему казалось, что все, что он говорит, уже осуществляется. Он мысленно окидывал взором всю партию, где знал только ближайших руководителей, почувствовал мощную организацию.

— Война, — сказал он горестно и решительно трихнул подбородком. — Какое безумие! Старый мир гибнет. Партии, толпы, власти, по воле своих императоров бросаются уничтожать друг друга. Капиталисты всех стран перетрылись между собою, и миллионы людей погибнут, отстанут их золото! Их! Люди гибнут за металл! Сатана там пранит бал!!! Совершается то, что мы готовили в тайне: гибнет мир, гибнет мир, гибнет мир. Из потоков крови встанут уже не люди, а животные, объединенные жаждой крови и насилия. Эта война — последняя схватка народов.

Бродман замолчал. Коржикин сел за стол и ерошил свои густые волосы. Какая-то забота тяготила его. Он все пошевеливал на Любовина. Любовин по-прежнему стоял у двери и внимательно, боясь проронить хотя одно слово, слушал Бродмана. Он был мертвенно бледен и тяжело дышал. Казалось, вот-вот он бросится на Бродмана.

— Все полетит! Все к черту! — вдруг вскрикнул Бродман как неожиданно, что Коржикин вдрогнул и поднял на него лохматую голову.

— Все, все погибнет. Погибнут народы, нации потеряют свой облик. Блгородство, честность, вера, чувство долга — все к свиньям под хвост. Гуда им и дорога! Ни к чему это, товарищи, — буржуазные предрассудки. Не мы, а они разрешили народу кровь... И не остановят... И когда ослабнут, когда погибнут лучшие люди, когда вытечет вся их кровь, встанем мы и предьявим длинный счет. Когда вы пьянствовали, сладострастничали, когда вы сидели по дворцам и раскидывали на автомобилях, когда вы носили тонкое белье, шелка, бриллианты и опьянялись вином, музы-

кой и женщинами, мы сидели в темных рабочих квартирах, мы измодали в страшной целодневной работе, мы стояли у раскаленных горнов на ледяном ветру сквозняков, мы задыхались в вони жилищ, мы отдавали своих дочерей вам на наслаждение. Мы умирали вашими рабами!.. Га! Мило кровушки нашей попили! Теперь мы будем пить вашу кровь, мы потребуем от вас свои постели нежное мясо ваших подруг, мы войдем в ваши дворцы и съедим и выпьем ваши запасы!.. Мы устроим мир бедноты и мы расхитим и расгасим все, что вы копили и берегли! Га!.. Прошлое, предки, история, слава! К чергу в болото и славу и историю! Все бледно и серо и нету героев! Нет, товарищи, в грядущей революции мы не дадим вам Наполеона!.. Пусть та серая, лыкая, пошная грязь, что накапливалась мы в рабочих кварталах, завет минурный блеск их знамен и орлов. Красная тряпка, а не знамя! Крошечные лохмотья, а не шитые золотом мундиры... Обищий голод и чавканье пожирающих труны, а не брачные пиры. Смердение разлагающихся тел, а не фимьям победных курений!.. Все лучшее к свиньям, к чертовой матери!.. И лучшего из нас убей! Убей!.. И, если ночь кричит в твоей рубашке — возьми и убей!.. Пусть в зверином сладострастии копошатся люди, как белые черви и паузы!.. Вот вам равенство!.. Все одинаковые, все белые, все склякие, все вощные, все одним пахвом питаются! Вот наши цели! Создать равенство червей!..

Бродман поднял руки вверх, растопырил пальцы и с силой выкрикнул, ни к кому не обращаясь:

— Мы дали вам бога и мы дадим вам — царя!..

Громко, как ружейный выстрел, хлопнула дверь. Любовин вышел из комнаты.

Любовин спускался по лестнице, держась за перила, и ноги не слушались его, перед глазами была темнота и слышался он один: — конец.

Он стремился к тому, чтобы все было хорошо. Ему хотелось, чтобы не будили песенников в два часа ночи для удовольствия девок и разгулявшихся офицеров, чтобы не было солдатчины и не грозил багровым кулаком ему под самое лицо вахмистр Иван Карпович. Ему хотелось, чтобы не было насилий, крови, не было смертной казни и страха возмездия. Он шел и партию и верил, что она несет равенство, братство и свободу, несет любовь и теплое отношение одних к другим. Он хотел верить, что там, куда он шел, тоже христианство, но только без попов, без обрядов, без мистических и легенд.

Тетрадка Вити, жесткие слова Коржикина, поручение ехать предавать Россию, наконец истеричные, полные страшного смысла выкрики Бродмана его поразили.

Вот куда его вели!.. К равенству паузных червей. Вот что ему обещают вместо красивого импе-

ратора, царственно величественного, ему дают — жита! Он думал, что если вымокнет под дождем на параде Государи или убьют его, не станет царя и все станет по-новому, лучше, крепше, богаче.

Что же на деле? Торжествующий жид и море крови! И нет возврата! Никуда не убежишь!.. Все следят друг за другом, все, как заклепанные, друг другу известны. Заставят исчезнуть при малейшем намеке на измену.

Исполнить их волю? Ехать в армию, поступить писарем? А узнают? А попадешься!.. Виселица.

Любовин переходил улицу. Он не видел ясного солнечного дня, не чувствовал нежной игры теней от листьев густых акаций, дубов и кленов. Глицинии на фасаде его дома, усеянные гроздьями лиловых цветов, его не радовали. К нему бросилась, ласкаясь, собака Эльзы, он невинительно погладил ее. "Эльза, — подумал он. — Эльза верная, как собака. Эльза милая, уютная, ласковая, простая. Укрыться у нее, сказаться больным и лежать дома, пока все они не уйдут. А потом опять: кофе по утрам, кормление кур, хождение на почту, а вечером — гитара и цитра и сладкие песни так любимой Родины".

"Ну, что же! Все-таки жить!"

Он смелее стал подниматься на крыльцо своего дома. В столовой и гостиной нижнего этажа Эльзы не было, но наверху в их спальне слышалась какая-то возня.

Любовин стал подниматься в спальню. Он приоткрыл дверь... Заглянул...

Раздался женский крик. Грубое ругательство.

Любовин тихо закрыл дверь. Шум продолжался. Сомнений не было. Он потер себе лоб и медленно стал спускаться с лестницы. Никаких мыслей у него не было в голове. Последние капли жизненной энергии были выплеснуты безжалостной рукою. Он уже ничего не понимал. Вместо радостного июльского дня он видел страшную дыру, куда тянули его невидимые руки. Он им не противился. Он не мог остановиться. Он повинился им. Два раза повторил: "Сын Маруси... Виктор... Виктор!" и потом громко сказал: "От него всего можно ожидать!"

И уже решительно, точно твердо зная, что ему надо делать, пошел через двор в сарай, где были сложены дрова и где висели тонкие крепкие бечевки для просушки белья. Он старательно осмотрел сарай, запер двери, деловито, по-хозяйски осмотрел лоханку, отыскал в ней маленький обмылок, точно обрадовался ему, схватил его жадными руками и, отвязав веревку, полез на стол и стал прилаживать ее к балке.

Он делал все спокойно, раздумчиво, внимательно, движения были уверенны, руки не тряслись, и только из темных глаз, ставших вдруг большими, глядела страшная пустота. Душа не смотрелась больше в них.

Продолжение следует

Александр Педан

КОЛОДА

Рассказ

Егорыч не спеша вышел за калитку. Погладил лысину, почесал бок. Посмотрел по улице вправо, влево — никого. Огорченно крикнул и повернулся назад, но во двор заходить не стал, а только сплюнул и калитку плотно притворил, для пущей гарантии накинув проволоочное кольцо на околыши.

— Не дай бог куры из двора шмыганут... Матреша жизни не даст, стоймя зарежет. Дура баба. Ей казака в роб зажать, как воды напиться! Куры дуры и бабы тож!

Егорыч возмущенно почесал затылок и сел на бревно, лежащее тут же, у плетня.

Плетень и бревно — гордость Егорыча. Ни у кого на хуторе не было плетня, а у него был! И какой плетень? Живой! Сперва, правда, обыкновенный был, камышовый. Потом из веток. Каждый год Егорыч заменял сломанные ветви и жерди на новые, орудуя где ножовкой, где секатором. Работа кропотливая, требующая умения и терпения. Сам-то Егорыч не всякую работу любил. Всю жизнь проработал конюхом в колхозе. А конюх — он что? Тот же шофер. Привезти чего — это с милой душой, а вот нагружать да разгружать, извините, не та профессия. Вот и Егорыч такой же. Но плетень... Тут дело другое. Тут любовь и гордость!

Плетень и хата достались в наследство от отца. Дело святое! Он, отец-то Егорыча, завещал все, как есть, беречь, а про плетень сказал так:

— Ты, Ванька, плетень береги и забор из штакету не городи... Забор от человека, а плетень от века...

И слова не очень-то мудреные, а вот запали они тогда Ваньке в душу, да так и остались в ней на всю жизнь. Уж давно его Егорычем зовут, а приказ помнит. Может, оттого, что через неделю после тех слов отец помер... Слова, перед смертью сказанные, самые главные слова, видеть.

Ну, а живой плетень потому, что со временем стал Егорыч под него подсаживать растения всякие: и выющиеся и деревца. Чего там только нет: плющ, акация, ива и много еще чего. А вместо столбов-колышек — тополя пирамидальные. Зацветет по весне — любо-дорого...

А бревно, или, как называли хуторяне, колоду

Егорыч притащил еще когда работал. Лет двадцать назад. Лошадьми тащил, через весь хутор. Пылищи было — лошади фыркали. Люди удивлялись, зачем ему эта колода? Для строительства не годится, на столб — тоже... Егорыч только посмеивался, хотя и сам толком не знал, зачем она ему. Просто поправилась — и все, вот и приволок домой.

Приволок, да так и бросил у плетня, но с тех пор повелось... Как только вечер, собираются на колоду старики, сидят — покуривают, о жизни толкуют, о политике. Бабы сойдутся — кости все-му хутору пересмыкают. Ну, а после них молодежь приходит. Магнитофон крутят, под гитару поют. Ну и любовь, естественно, тут зарождалась. Много свадеб через ту колоду гуляно. Так ли, нет ли, но когда на хуторе свадьба, то всегда приглашали Егорыча с женой и тосты провозглашали — за молодых, за отца и мать и, как закон, за Егорыча и его колоду. Шутили, конечно, но все-таки... Потому-то Егорыч и гордился своей собственностью и ухаживал за ней. Каждый год колоду покрывал олифой, не давал гнить, не без основания утверждая, что это бревно принесит людям счастье, а поскольку оно его личное, то он, Иван Егорович Боков, и есть хранитель счастья людского. Главней председателя, потому как ответственность выше!

Из широких латаных штанов достал "Беломор", вынул папироску, постучал ею об пачку. Неторопливо закурил, закашлял старчески, протяжно и, сощуриль глаза от дыма, стал смотреть в степь.

Хутор тянулся километров на пять вдоль речки, с двух сторон опускаясь огородами к берегам. Местные шутили: у нас хоть и пол-улицы — зато две! Это потому, что сзади огорода да речка, а спереди — дорога да степь. Оно и не степь, конечно, а колхозные поля, но местные называли гордо — степь! По старинке оно, дескать, понадежней.

Сквозь стенистое марево долетел далекий, тонкий крик перелетки.

— Ишь ты! Живы еще, бедолаги... Не всех потравили... Бог даст, может, и не шправят вовсе... — покашливая, пробормотал старик.

Вечерело.

Правой рукой Василий цапнул пачку, лежащую на сиденье пассажира, но сигарет в ней не оказалось. Он вздохнул и выбросил пачку в окно.

На очередной кочке машину бросило в сторону. Василий ударился плечом о дверцу и инстинктивно нажал на тормоз. Двигатель заглох.

— Ну и дорожка... — пробормотал он. — После дождя хуже гравийки. Надо же, как высушило!

Василий вышел из машины, ударил каблучком по кочке, которая выпирала над краем колеи. Та отломилась и с глухим стуком запрыгнула по дороге.

— Хм... — констатировал Василий. — По такой дороге машину разбить — плевое дело. И как они тут ездят?!

Подумал, улыбнулся: «А ведь по этой дороге сам пацаном гарцевал, аж пыль стояла. Приеду, надо будет попробовать — босиком!»

Василий чиркнул пальцем по лобовому стеклу, оставив след на тонкой пленке пыли, и сел за руль. «Жигули», пьяно покачиваясь, двинулись вперед.

Ехать оставалось немного — с километр. Василий косил глазами в сторону хат и редких домов, высматривая кого-либо из знакомых, но хутор словно вымер. Только в одном из дворов он заметил старушку, которая кормила кур.

Вот и знакомый двор, старинная бабушкина хата, в которой он провел почти все свое детство. Машину остановил прямо у ворот. Посигналил, извещая тем самым всех о своем прибытии.

Старый пест Полкан тяжело вылез из будки, не узнавая, посмотрел недоверчиво на Василия, тряхнул головой, отгоняя мух. На всякий случай разок хрипло гавкнул и побрел к деревянному корыту пить воду.

Василий откинул крючок на калитке, прошел к кате. Дверь оказалась запертой. «Куда ж она ушла, бабулька? Может, на огороде копается?» Решив скодить на задний двор.

Куры шаркнулись от незнакомого человека, свинья в свинарнике сердито крякнула. С десяток гусей возмущенно зыгзгали, а вожак пригнул шею к земле и, по-звериному шипя, побежал на Василия.

— Ну-у... Страшный какой, — засмеялся тот и махнул рукой. — Распешелявился. Иди, иди, а то девок свонк прошепелявишь.

Василий открыл маленькую калиточку в огороде. Никого. Пожал плечами и повернул обратно. У двери каты увидел старика с папиросой в руках. Узнал, заулыбался:

— Здравствуй, Егорыч!

— А-а... Воп-на кто пожаловал. — Васятка! А я думаю, кто й там по чужому подпорно шастает? Может, цыган, думаю, кур шоровать пылались? Когда гляжу — вроде свои... Ну, здоров, здоров! В

гости, значит? Молодец. Не забываешь бабу. Привильно живешь, стало быть... Во как! Старые люди заботу любят. Да-а...

Все это старик говорил коть и не быстро, но безостановочно — Василий не успевал отвечать, только улыбался и пожимал сухую и твердую, как сук, ладонь Егорыча.

Оба искренне радовались встрече. Другими были, коть и по годам разные. Василий любил деда за его умение рассказывать всякие истории и выдумывать возможные небылицы, а Егорыч любил парня за умение слушать.

С детства Василий помнил рассказы Егорыча. Слушал завороченно, открыв рот, а тому только такого слушателя и надо, чтоб вовсю развернуться. И еще помнит Василий, что на самом интересном месте рассказа приходила бабка Матрена, жена Егорыча, и начинала всегда одно и то же:

— И чего это ты, старый черт, клопну голову дуришь? Околеснилу всякую несешь! Ты его, Васька, не слушай. Он отродясь ничего путного не говорил. Так, бредня одна. Воп куры всю расиду поклевали, проклятые, а ему и горя мало! Э-эх! — И махала рукой, сердчая. Васька толпа голому к земле клопил, носом сопел. Обижался как бы за друга. А тот подмечал это, глядел чернявой ладонью Ваську по голове, посмеивался и Матрене в обратку:

— А Васька-то поумней тебя, бабка... — поднимал вверх палец и как-то торжественно-удивленно добавлял: — Он слушать умеет! Добрым будет казак, добрый!..

И к Ваське:

— Ты на нее зла не держи, не дуйся. Лопнешь! Не от себя она это. Природа у них, у баб, такая. До венца баба аль дсвка от бога, а как токма в колечко-то обручальное пальцем гнет, от черга становится. Во как!

— Вот ты-то черт и есть! Алчихрист по мою душу... — врывалась бабка и уходила, что-то бормоча под нос.

— В гости, значит, к бабке? — повторил Егорыч, оглядывая сверху допиду Василия. — Я смотрю, справный ты и одсжа корошная. Знать, жена хорошая. Ты чего ж без нее приехал?

— Да я по делам, в станицу приезжал, ну и решил к вам на кутор заскаты — проведать... А Гатьяна дома, на козяйстве осталась...

— Хе... Да какое ж у вас, городских, козяйство?

— А дети?

— А-а... Ну да. Это, конечно... Никуда не денешься... Ну, а чего ж мы стоим? Пошли ко мне, посидим, поговорим... Бабка твоя с моей саганой в станицу подалась, на базар, а я тут на ша члора хозяин. К шесги их почжичал, а негути... Вичать, поедным автобусом прибетут — в восемь. И чего там с угра делать? Ну, так шо? Пошли к де-у-се-селу, побалакаем...

— Конечно, пошли, только машину загоию во двор.

— Ну да, ну да. Загои. Машина-то новая, видать?

— Год назад купили.

— «Жигули», что ли?

— Они самые.

— Ну-ну... Устраивай свою жигулю, а я тебя на бревнышке подожду.

Василий загнал машину во двор. Достал из багажника сумку. Покопался в ней и вынул полиэтиленовый мешочек с куриными костями. Высыпал все собаке. Специально вез угощение. Пес осклабил было зубы, но, унюхав запах делкатеса, завил хвостом. Василий запер ворота и накиннул на калитку крючок. Сумку взял с собой.

Егорыч поджидал его на колоде. Василий подошел, сел рядом.

— Егорыч, сигареты у меня кончились... Угости, а?

— Можно, а чего ж?.. — старик протянул пачку.

Некоторое время сидели молча, дымили. Наконец Василий принял окурок ногой и, словив извиваясь, сказал:

— Егорыч, я тут вам и бабушке моей колбасы привез и масла... Надо бы в холодильник положить...

— Ух ты!.. — восторжился старик. — И нас не забыл, значит? Ну, спасибо. Бабка придет, я те деньги отдам...

— Да какие деньги? Это же гостинец.

— Ну, как же так?.. Я слышал, колбаса поне кусается. В нее, говорят, и бумагу какую-то суют... Не то туалетную, не то иншо какую, чтобы цеиу, значит, сбить... Бумага-то дешовая. А она, цена-то эта проклятушая, балакают, никак не падает... Во как!

— Не-е... Эта без бумаги. Копченая.

— А, ну тогда ладно, — старик лукаво улыбнулся, собрав на лице сеть морщинок. Он решил, что очень тонко выведал все про колбасу. — А вот холодильник-то у нас и нет, из кой она черт? Гок жрет, а держать в нем псего, акромья бибкиных прилюль. Опять же химия в ней, в колдильке твоей... Читал я — фреон называется... От его дырки какие-то в воздухе... Брешут, видать, про воздух? Как в ем можно дырки делать? Никак, отравка какая!

— Фреон! Газ такой... Он колдод дает, — поправил Василий.

— Холод погреб должен давать! — поучительно сквзал дед. — Тебе сколь годов?

— Тридцать пять...

— Во! А мне без малого восемьдесят. Дай тебе бог прожить столько на твоём газу!

Василий засмеялся. Спорить со стариком было бесполезно. Дед в своей жизненной философии был непоколебим. Чтобы лишний раз не заподить старика, он переменил тему разговора.

— Ну, а как псает этого газа?.. — И вытащил из сумки бутылку водки.

Егорыч поперхнулся дымом. Глаза сощурились, кадык дернулся, ладони пристукивали по коленкам.

— Ну. Васька... Ну, душегуб!.. Я ж тебя сизмалства пянчил, а ты воп-на что вытворяешь... Ты чего ж это, шельмец городской, над стариком измываешься, а? Я тебя пацаном на лошадак катал? Катал! А как где замес... У кого ты лошадей просил? У меня! Нешто я не давал? Давал! А лошада или там коиь... Это для казака што? Для казака это... Это жисть! Во как! Стало быть, жисть я для тебя не жалел, а ты...? Ма-асло... Колбаса-а... А казацкое угощение попридержал, байстрюк!

Василий, слушая обвинительную речь старика, смеялся. Знал он эту слабость Егорыча к спиртному. Тот, правда, никогда не напивался, меру знал, но выпить любил при любом случае. Василий это помнил и старался с пустыми руками не приезжать. Да и выговаривал сейчас Егорыч не всерьез, а в шутку. Это у них была как игра. Старик при каждом приезде Василия терпеливо ждал «казацкого угощения», а тот специально тянул с этим. Зато, когда появлялась бутылка, тут уж Егорыч показывал свое ораторское искусство и все укорял Василия за издевательство над ним.

В хуторской магазин спиртное не завозили. Егорыч знал, что достать водку, даже в городе, сложно и дорого, и если Василь приезжал пустым, не спрашивал, не намскал. Понимал. Вздыхал только. Ну, а сегодня есть. Бабы дома нет, никто лишний раз пилить не будет, а бутылка есть. Это ль не праздник?!

Старик, прочитав проповедь своему молодому другу, подобрел, но колоде похлопал, на которой сидели.

— Помнишь? Тоже тут дсвкам головы дурил. — Усмекнулся.

— Помню, конечно... — Василий провел ладонью по бревну. — Аж отполированное...

— Ну да! А как же? Бабы каждый псеч задачи полируют, покамест всех хуторских не переберут на язык... Этому бревну годов сорок будет...

— Да ну, сорок... Откуда? Лет двадцать всего!

— Ты, Васька, как городской стал, так шибко спорить навострился. Ну, лежит оно тут лет двадцать — верно, так ведь росло оно тоже годов двадцать. Вот и считай... — выкрутился дед. — К этому бревну все питочки из кутора тянутся. Все тут сиживали. И моя жисть на него намотана... Во как! — Егорыч задумчиво вздохнул, погладил колдоду и, крякнув, встал. — Ну, пойдом до хаты, закуску поищем...

Хата, прспаня в землю, состояла псего из двух маленьких компит и коридорчика. В переднем компатушке на тумбочке — телевизор, на стене — изъеденный молью ковер. Псечка. По дру-

гую сторону, у окошечка, стол да две тумбочки. У дверного косяка, на стене — доска с вбитыми в нее гвоздями — вешалка.

Во второй комнате и того меньше. Двухспальная кровать, комод и фикус в кадке. В углу образок в белых рушничках и с горящей лампадкой. Две табуретки.

Егорыч хмелел быстро, головы не терял. Рассказывал неторопливо, как жил. Вспоминал молодость свою:

— Мы, ить, Василек, в кулаках ходили. Это когда Советы пришли к власти. Лошадь у нас была и корова... По тем временам зажиточными считались...

— А батраки были?

— Да ну, какие там батраки. Отец с матерью хребтину пили от зари до зари, не разгибались. И мне доставалось... Потом в колхозы стали загонять... Отец-то мой добровольно хотел туда идти, да приехал какой-то комиссар из району и записал нас всех во враги народа... Хотели нас выслать, да... У нас самая лучшая пшеница урождалась... Отец-то мой и ей толк знал! Председатель хотел секрет узнать... Што да как... А какой секрет? Земля! Она пот любит! Вот и весь секрет... А комиссар с председателем все думали, что мы таимся от Советской власти, все следили за нами да родней нашей. Брат-то отца не выдержал этой слежки да в плавни подался. Его бандитом и окрестили. Как-то ночью пришел он, а с ним еще трое... До утра они с отцом картошку сажали, чтоб мы с голоду не подошли. У нас к тому времени все забрали... Яйца куриные, и те... Ну, вот. Сажали они, а кто-то, зная, видел, ну и донес... Судили прямо в этой хате. Потом всех пятерых вывезли на лямки да в камышах там и... Я все, как есть, помню... Мы с матерью в сельсовет ходили... Чтoб, значит, забрать покойников, похоронить — не разрешили...

Егорыч рассказывал неторопливо, задумчиво, но без боли и вздохов. Отболело, видать, отиздыхалось, и только когда разговор касался бабушки Василия, трезвел вроде бы, приосанивался. С уважением говорил, ласково.

Залепи было песню Егорыча любимую "Скакал казак через долину", да не допели. Егорыч прервал на середине, заплакал. Встал, подошел к Василию, поцеловал в голову, пробормотал:

— Эх, внучек... Хорошее твоё утешение, да воды в ем мало, а тоски много...

Что он хотел этим сказать, Василий не понял, но видел, что старика что-то канудит. Спрашивать не стал. Захочет, сам скажет, а нет, пусть при нем и останется.

Егорыч стоял, пошатываясь, долго смотрел в одну точку и вдруг сказал:

— Все, Василь! Отпились я... Все! Большие капли в рот не возьму. Не возн больше... Видно, помирать скоро... Во ка-ак выйдет... значит...

— Рано тебе еще поминать, Егорыч. Гл что это? Давай лучше спать!

— Э-эх!.. Хороший ты казак, Василь, и бабушка у тебя... Мама. Плетень меж нами... Эх! Мор

бы ты... Ну, ладно! Жизнь, она того... Ну, давай спать...

Василий обнял старика, довел до кровати, уложил, дождал, пока уснет. Убрал со стола. Спать пошел в машинку, в хате места, кроме кровати, не было.

Проснулся, солнце высоко, в салоне жара. Из машины вылез потный, рубашку снял, потянулся. Воды из колодца набрал, умылся. Вдруг у заднего бампера — мешок. Развязал, а там груши. Все, как на подбор, желтые с красным боком.

— Отдарили старик, — подумал Василий тепло, — надо будет мешок вернуть. На куторе мешок вещь ценная.

Выложил груши в багажник, переложил травой, чтобы не побились. Оказалось, что мешок отдавать некому. Егорыча нигде не было: ни в хате, ни в огороде. Ушел куда-то. Василий аккуратно сложил мешок под дверь. Придет хозяин, приберет на место.

Бабушку решил тоже не дожидаться. Когда она еще придет? А сегодня на работу по вторую смену. Пока досидит, то да се... Через два месяца отпуск. Вот тогда и можно будет прикатить на недельку, отдохнуть.

Два месяца спустя Василий, действительно, приехал.

Бабушка рассказывала новости. Какон-то дурак (иначе не назовешь) ночью отгадил грузовиком колоду Егорыча за лесополосу, облил ее там бензином и сжег. По слухам, проле бы из решости. Го ли невесту свою на той колоде с другим застал, то ли еще чего. Гочно неизвестно, а только утром Егорыч по следу нашел то место. Часа три около пенсиды сидел. Матрена приходила, ругалась, что без дела сидит. Он головой кивал, соглашался, а к вечеру помер...

У Василия закололо, запыло в груди, а бабушка вышла в сени, а через минуту вернулась с пустым мешком в руках.

— Не знаю, чего у нас там было, а в тот день Матрена явилась. Иди, говорит, Ванька к теще. Ну, я пришла, а он на койке лежит, белны весь, а глаза ясные. В головах у него мешок вот этот. Глазами на него показывает и говорит, что, мол, отдай его Василию, как придет. Потом за руку меня взял, сжал и... помер. Видно, еще что-то сказать хотел, да не успел. Царство ему небесное да земля пухом. Мне, видно, тоже туда собираться надобно. Ваня помер, а руку мою так и не отпустил, пальцы разжимали. Светлый был человек... Сердцем чувю — звал он меня с собой...

Бабушка говорила тихо, спокойно, а по морщинистым щекам — слезы. Не вытирала, не замечала.

Есть у старых людей какая-то взаимосвязь. Видно, самой жизнью налаженная, оттого и крепкая, неразрывная. Недолго после смерти Егорыча и бабушка жила. Тоже умерла, сердечная. Люди говорят, что от тоски, да разве точно знаешь?..

Григорий Василенко

СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ*

3. КАЗАЧКА ПАША

Как и договорились на последней встрече, мы отправились с Иваном Алексеевичем на такси в загородный ресторани. Он сам предложил этот "Охотничий дом", недалеко от шоссе, в лесу. Как только мы зашли в уютный темноватый зал, обставленный под старину, с охотничьими трофеями на стенах, к нам подошел знакомый официант Ивана Алексеевича, предложив занять стол на двоих в укромном месте, у раскрытого окна, где нам никто бы не мешал. Поскольку разговор шел на русском языке, то я заключил, что официант тоже эмигрант.

Мы уселись друг против друга, перебросились последними неутешительными новостями о положении в Чехословакии и перешли к тому, на чем остановились на последней нашей встрече. Иван Алексеевич не забыл, что меня интересуют события двадцатых годов на Кубани, а я хотел, чтобы он продолжил свой рассказ о них как непосредственный участник, живой экспонат истории тех лет.

Мне казалось, что Иван Алексеевич неисчерпаем в своих воспоминаниях. Он уже назвал мне немало личностей, когда-то имевших вес в обществе и определявших в те грозные годы политику на Кубани. Упоминал он и генерала Улагая. Его имя я связывал с улагаевским десантом на Кубань и провалом этого вторжения, казавшегося мне авантюрой затей белых генералов, битых красными войсками. "Если не удался деникинский поход на Москву, — думалось мне, — когда до столицы оставалось рукой подать и нависла серьезная опасность для всей Советской республики, то начинать Улагая все сначала, откуда уже начинал Деникин, было безумством". Я так и сказал Ивану Алексеевичу.

— Генерала Улагая я знаю с пятнадцатого года, когда он прибыл в 1-й линейный полк из Дикой дивизии, в чине есаула. С первых же дней он нас, офицеров, произвел гипнотизирующее впечатление. Не зная его характера, мы уже восхищались его личной храбростью, — рассказывал Иван Алексеевич.

*Окончание. Начало в № 3, 4.

— Полное спокойствие на лице, хладнокровие, презрение к смерти в бушевавшей стихии боя выделяли его среди офицеров. Дальнейшая боевая жизнь показала, что он был еще и крайне самолюбивым и гордым человеком. В 1916 году зимой его назначили помощником командира полка по строевой части. Будучи непосредственным нашим начальником, он стал любимцем офицеров и казаков. Одинаково относился ко всем офицерам, нередко брал на себя роль "буфера" между офицерами и командиром полка. Во время боев был строг и требователен в проведении операций. За что и получил Георгиевский крест и георгиевское оружие. В первые дни революции быстро понял, что революция набирает силу и всякая борьба за старое останется безуспешной, но тем не менее, возмущаясь красными банитами и красивыми флагами, заставил офицеров, не желавших еще признавать полковой комитет и новшества, пойти навстречу революции. Поэтому, когда летом в 1917 году уезжал из полка, его казаки провожали восторженно.

И они же скоро обвинили его в контрреволюционности. Он попал в тюрьму в Могилеве с Деникиным как корниловец. Как только его освободили, бежал на Кубань, где и жил до Октябрьского переворота. При всех своих качествах он обладал, между прочим, еще одной особенностью. Любил комплименты, как бы незаметно принимал их. Позволял младшим говорить все, спорить с ним на какие угодно темы, но с тем, чтобы ему принадлежало последнее слово. Этому он не упускал. В случае противного он уже менял отношение к этому офицеру. Кажущаяся свободная доступность удерживала его на высоте в полку. Он понимал, что ему нужно быть таким, каким его желают видеть офицеры. Менялся и подстраивался как-то незаметно. Вместе с этим, он был все же одинок, офицерство охладело к нему, как к бывшему большому начальнику. А в то время командир полка был именно большим начальником.

На Кубани, когда началась борьба с большевиками, он сформировал отряд, ядром которого были офицеры Линейного полка. Опять-таки при нашей поддержке, наших рассказах о нем, мы

ему составили известность. Боясь его из-за широкой известности, зная его храбрость, генерал Покровский сразу же стал его врагом. Улагай ответил ему тем же. В результате во время ухода первый раз из Екатеринодара, в восемнадцатом, Покровский в одной из станций хотел его судить военно-полевым судом за неисполнение приказа, и только благодаря вмешательству офицеров, которые окружили суд с оружием в руках и напугали судью генерала Карцева, его отпустили.

Соединение с Корниловым дало возможность ему избавиться от Покровского. При взятии Екатеринодара Улагай был ранен в живот. Отношение к нему Корнилова, да и тяжелое ранение, полученное в бою, заставило обратить на него внимание "добровольцев". В августе 1918 года Деникин назначил его начдивом, а потом командиром корпуса. Применяя тактику быть вблизи своих частей во время боя, видеть его картину, лично распоряжаться, он завоевывал симпатии в своих войсках. Запрещение же им грабежей заставляло о нем говорить и общество. Вот почему, когда умер атаман Успенский, Улагая хотели избрать в атаманы. Скобцов, Иванис и другие деятели Рады полагают, что, направляя Улагая по политической дороге, они воспользуются его качествами, уладят распри с Деникиным. Их надежды не оправдались.

От атаманства Улагай отказался. Он открыто заявил, что в политические игры не играет, а быть орудием политиканов не желает.

Я же от себя могу добавить, что он боялся попасть под влияние политических деятелей, боялся того, что, не разобравшись в политике, мог наделать кучу ошибок, которые всю его прошлую карьеру свели бы на нет. Улагай отказывался от командования армией и только под давлением англичан согласился на это, но вскоре как командующий совершенно не проявил себя, красные били его не раз. То же самое случилось и с десантом в 1920 году. Потом он сам оправдывался, что его поставили в какие-то тяжелые условия. План операции составлялся без него, и, что называется, в командование десантом его втиснули. Я думаю, что это не совсем так. Он не согласился бы служить в "Объединенном казачьем совете", нужды и полное безденежье заставили принять предложение, а что вот заставило командовать десантом?

Как только Улагай с остатками десанта каким-то чудом выбрался на Крымский берег, сразу попал в немилость к Врангелю, и тот уволил его из армии. Звезда Улагая закатилась. Да и Врангель недолго продержался. Я случайно узнал, что Улагай побирался в Константинополь, не имея совершенно никаких денег, живет в Биюк-Дере на каком-то пайке, "загоняя" свои многочисленные ордена. Он разделил участь битых генералов.

Весною 1921 года на острове Лемнос, коман-

дую сотней беглых казаков, я как член Рады неожиданно получил письмо от Скобцова, доложил по команде. Мне дали кучу поручений, и я отправился в Константинополь с того проклятого всеми живыми острова. Скобцов приглашал меня по какому-то важному делу, а оказалось, для отправки на Кубань как хорошо знающего предгорье. Он тут же, на первой встрече, предложил мне подобрать партию. Я согласился только лишь потому, что твердо решил не возвращаться в Лемнос. Подобрал себе партию из тех, кого знал: полковника-юриста Бисерова, прокурора на Лемносе, полковника Орлова, полковника Лиманского, бывшего эсера штабс-капитана Дьякова и двух рядовых для услуг. Все они изъявили готовность бороться с большевиками, о чем я доложил Скобцову. Для воодушевления он меня познакомил с организацией "Объединенный Совет", с ее ближайшими задачами. Я терпеливо выслушивал, даже кивал в знак согласия головой, а сам не верил ни одному слову.

На вопрос, кто будет меня отправлять, Скобцов от прямого ответа уклонился, сказав, что это будет комиссия, по технической части отправки и подготовки лежит на одном лице, которому он написал письмо, и дал мне адрес. Этим лицом оказался бывший полковник генштаба Ерарский, служивший в 1918 году в Киеве в контрразведке белых, потом — в контрразведке Врангеля. Он и заведовал исполнением технической части отправки партий и одиночек на Дон, Кубань и Терек. Скоро я узнал, кто был в комиссии. В нее входили: Скобцов, Апостолов, врач, фамилию не помню, кажется, Попов. Они выдавали Ерарскому деньги, он перед ними же и отчитывался. Зная, что комиссия бедна, я заинтересовался у Скобцова, откуда они берут деньги. Ответ получил весьма уклончивый, но все же можно было предположить, что большая часть денег шла из Парижа. Меня это тогда очень интересовало. Я хотел знать, кто нас посылает в Россию. По толку я так и не разобрался, кто же наши истинные хозяева.

Отправка моей партии задерживалась из-за того, что не подходило подходящего судна. Пришлось ждать. Наконец нашли старую посудину — "Отважный". Я не разбирался в морских судах, но мне говорили, что на этой дырявой, кое-как залатанной калоше можно добраться.

Пришлось согласиться на путешествие по Черному морю. В чувалах с половой принесли скрытно револьверы, винтовки, снаряжение, а перед самым выходом посадили и нас на судно. Ерарский меня предупредил, что на этом же судне отправляется и партия таких, как и мы, в Крым. Я запротестовал, но он уверял меня, что высадят сначала нас, а потом крымцев. Протестовать и жаловаться было некому. Пришлось подчиниться.

В первый же день выхода в море капитан объ-

явил мне, что они сначала идут курсом в Крым, а потом, наверное, повернут на Галац, так как угля не хватит на всю операцию. Я запротестовал и решительно потребовал держать курс к берегам Кубани, но он потребовал в море подчиняться только ему, капитану. Я фактически был арестован. На второй день плавания главная машина испортилась, пароход два раза останавливался для починки. Уголь истощался быстро. "Отважный" делал не больше трех узлов в час. К вечеру капитан приказал повернуть судно на Галац. Для через четыре мы попали в устье Дуная, а потом в Галац как потерпевшие аварию. У моей партии были документы с визой на Новороссииск. Поэтому румыны не считали нас большевиками и на берег не пустили.

С нами на пароходе была женщина по фамилии Садовская. Для чего она ехала, я совершенно не знал, но когда к нам подозрительно отнеслись румыны, то она помогла в переговорах. Капитан, она и один из крымской партии поехали в Бухарест.

Были слухи, что Садовская чуть ли не жена Скобцова, имеющая особое задание. Ранее она работала у эсеров, а сам Скобцов находился у нее под пятой при решении политических вопросов, подчиняясь ей во всем.

Единственная женщина на судне вызвала много пересудов. С ней связывали все неудачи нашего похода. Предлагали даже втихую выбросить ее за борт. Садовская, заметив враждебность к ней, струхнула и призналась, что она направляется в Польшу по поручению эсеров к Савинкову, но перед этим ей надо с кем-то встретиться в Крыму, и просила защитить ее.

После возвращения капитана из Бухареста я потребовал, чтобы мою партию высадили в Румынии, так как от дальнейшего плана я отказывался. Румыны не соглашались. Тогда на отходящем из порта пароходе "Романия" мне кое-как удалось устроить свою партию и возвратиться в Константинополь. Судьба же "Отважного" сложилась плачевно. Простоявши недели две в Галаце, крымская партия получила помощь из Константинополя деньгами для покупки угля и ремонта. После ремонта отчалили в Крым, но перед высадкой на берег в море попали в шторм, испортились машины, судно потеряло управление, и его прибило к берегам Анатолии. "Отважный" вернулся в Константинополь в очень жалком виде. В Константинополе комиссия и Ерарский потребовали от меня отчета. Я его написал, а деньги по 15 лир, оставшиеся от поездки, разделили поровну в своей команде. После этого меня пригласил к себе не кто иной, как сам Улагай. Он в ожидании благоприятных результатов от поездки Скобцова в Париж готовил новую широкомасштабную экспедицию, решил сразу послать партию на Кубань, Дон и в Терскую область. Начальником экспеди-

ции Улагай назначил полковника Бурду. Меня же Улагай назначил на должность помощника Бурды по политической части. Полковника Гамалия — начальником Рйского отдела, Крыжановского — Майкопского, Буряка — Таманского.

Зная Гамалия как человека, абсолютно несведущего в политике, грубого офицера, не умевшего держать себя, стремившегося к власти, Крыжановского как пьяницу, абсолютного профана как в военном, так и в политическом деле, но тоже стремившегося к власти, я высказал Улагая в отношении этих господ офицеров свое мнение. Они с первых же шагов могли испортить дело, которое им поручалось. Улагай, подозревая, что я просто был недоволен своим назначением, наговорил мне кучу дерзостей, после которых я не продолжал разговора. Мне нужно было поступить именно так, уехать на Кубань без всяких заданий. Я хотел самолично убедиться, как живут люди в России, как относятся народ к Советам. Вот поэтому я и порвал с Улагием. Я, как говорят, "зайцем", никому ничего не доложив, стал пробираться домой, на Кубань. Его начальник штаба, полковник Думский, пытался сгладить инцидент, но для меня уже все было решено.

— Мне пришлось слышать еще о каком-то Улагасе, — сказал я Ивану Алексеевичу.

— Был, был... Купук-Улагай, полковник, какой-то родственник этого самого генерал-лейтенанта Сергея Улагая. О нем ничего не слыхал. А вот полковник генштаба Думский в том разговоре со мною сказал, что Улагая безразлично было где служить и кому служить. Я несколько этому и не удивился, когда узнал, что он в 1924 году попридился с отрядом казаков на службу в Албании. Там его споса, как на Кубани, побили. После этого генерал переметнулся к немцам, пошел в услужение к Гитлеру.

...Домой я добрался с превеликим трудом. Отец мне рассказал, что в округе неспокойно. По ночам с гор спускались бандиты, налетали на станции, грабили, убивали. А по утрам громко читали женщины. Я еще в Константинополе слышал о бело-зеленых в горах, возглавляемых бывшими офицерами, заброшенными на Кубань из-за границы, но в то, что они занимаются бандитским промыслом, мне сначала не верилось. Офицеры — и вдруг бандиты?..

Как только я объявился в станции, меня чуть ли не через день допрашивали чекисты как бывшего есаула, врангелевца.

Я о себе ничего не скрывал, рассказывал, что вернулся домой без всяких злых намерений, ничего не замыслил, никаких шпионских заданий не имею, с прошлым порвал, обещал пахать землю, сеять хлеб — и только.

В станции располагался отряд под началом чекиста Хоржика, хитрого мужика, преданного делу революции, своего рода фанатика. Это был

двигательный человек. Ну, хотя бы тем, что он меня не арестовал, хотя и не совсем верил мне и, наверное, про себя считал меня очень модным тогда словом — контра. Отряд, как я понял, вел борьбу с бандитами и очень нуждался в помощи станичников.

Хоржик присматривался ко мне, я к нему, продолжали разговоры. Он спрашивал об эмиграции, об офицерах, которых я знал по службе у Деникина и Врангеля. Мне, конечно, понятно было, куда он клонит. Я не сомневался, что последует предложение сходить в горы и кое-что разузнать. Но мне удалось его убедить, что жившие в горах бандиты не поверят мне, поскольку Советы меня приняли и не трогают, а вот если что-то дойдет до меня о зеленых, то непременно скажу. На этом мы пока и сошлись, хотя Хоржик все же продолжал сомневаться, не убежу ли я в лес. Но я решил сдержать свое слово. В лес не собирался.

Надо отдать должное Хоржику и умело проведенной операции по проверке меня.

В одной из передовых станиц чекисты его отряда прихватили связника бело-зеленых, молодую девушку, и с ней пошли работу, но об этом я узнал значительно позже. Видимо, от нее Хоржик узнал о том, что я знаком с позаренцем-врангелевцем, которому они тоже не совсем доверяли. Начали расспрашивать меня, кто он такой?

Каширский Максим. Малограмотный казак на станице Удобной Армавирского отдела. Служил рядовым, службон царю дорожил, но был уволен по болезни. В 1914 году вновь был мобилизован и отправлен на фронт в 1-й Хонерский кавполк, откуда, некоторое время прослужив, направлен в школу шоферов в Петроград, которую окончил в 1915 году, и был назначен шофером 1-й казачьей Кубанской кавдивизии. По тем временам это было примерно то же, что летчик сегодня. Пробыл год шофером, он убежал в отряд, которым командовал в то время есаул Шкуро. В этом отряде он и служил до революции. За боевые отличия был произведен в вахмистры, получил два Георгиевских креста и медаль, но демобилизации возвратился в станицу Удобную, где и проживал до 1918 года, а потом снова пошел к Шкуро личным шофером.

Будучи раненым, возвратился в станицу Удобную, побился в станичные атаманы. В марте 1919 года его вызвал Шкуро и опять назначил своим личным шофером, присвоив ему чин хорунжего.

Служил он Шкуро верой и правдой, но, представьте себе, оставшись после отступления белых в своей станице, при появлении отряда зеленых под командой Хвостикова ушел к нему в горы. Тот произвел его в сотники.

Под напором красных частей он вместе с Хвостиковым через Ясиновский перелаз ушел в Гру-

зю, откуда эвакуировался в Крым, в армию Врангеля, получил чин есаула и был назначен командиром дивизиона. С остатками армии Врангеля эвакуировался в Константинополь, а оттуда в Грецию, на остров Лемнос. Его возвращение на Кубань мало чем отличалось от моего. Вернувшись домой, он скрыл все свои чины по своей наивности думал, что все ему так и поверили и он останется обыкновенным станичником. Но не тут-то было.

Его судьба интересна тем, что в нем уживалось как бы два человека. Сам он бедный казак, в войну стал лихим рубакой красных, прошедшим выучку у самого Шкуро, но не побоялся возвратиться домой. Скрывать долго свое офицерство не мог, сошелся с чекистами, вылавливавшими бандитов в горах. Он помог ликвидировать банду Васильева, сам застрелил этого предводителя. Вот и поймите этого шкуринского шофера-есаула.

Банду-то ликвидировали, но с бандитизмом окончательно не было. Объявился новый главарь банды — вахмистр Козлов, бывший подчиненный Каширского по службе в 1-м Лябинском кавполку. Каширский считал его большим трусом, не способным на что-то серьезное. Сам пришел к чекистам и предложил свой план, как обезопасить станицу от бандитских набегов, — доставить живым этого главаря. Чекисты пошли на довольно рискованный шаг — назначили Каширского милиционером станицы, дабы привлечь к нему внимание как к доверенному Советов и иметь возможность через него выследить банду Козлова, связаться с ним. Об этом узнали главари других банд, на что и рассчитывал Хоржик.

Предводители бело-зеленых, зная Каширского как шофера Шкуро, преданного им рубаку, доверяли ему. Кажется, осенью на встречу с ним пошел сам войсковой старшина Ковалев, главарь крупной банды. Он предупредил Каширского, чтобы тот им не мешал взять седла в станице Предгорной, причем сказал, что придет вместе с полковником Козликиным. Каширский — рад стараться, заверил их, что в назначенный день разошлет всех милиционеров куда и они смогут без всякой опаски сделать намеченное дело. Установив точный день приезда Ковалева с Козликиным, Каширский сам организовал засаду для их поимки, но Ковалев с Козликиным сами не прибыли, а прислали своих подчиненных из банды, которые ночью в темноте Каширским были приняты за Ковалева и Козликина.

Каширский окликнул их, а те, испугавшись, бросились бежать. Узнав об этом, Ковалев подозревал Каширского и решил снести с ним счеты. Они подкараулили его и убили. Жаль. Он мог бы столько рассказать о Шкуро. Признаться, я тоже участвовал в операциях по ликвидации банды Ковалева.

После убийства Каширского подозрение и

предательство пало и на меня как его приятеля. Ковалев и Козликин охотились за мной. Я опасался попасть им в лапы. Чекисты, исходя из моего послужного списка, рассчитывали на меня, но я не мог быть "слугой двух господ". Ковалев и Козликин могли меня убить, а ЧК, подозревая, — расстрелять. Надо было решать. Но в это время чекисты напали на след Прасковьи Васильевны, задумали комбинацию по ликвидации банды Ковалева и Козликина, организовали по своему плану наше знакомство.

Тут я должен рассказать о Прасковье Васильевне, смелой, отважной женщине, с которой меня так неожиданно свела судьба.

— Чекисты свели, — заметил я.

— Я все же предпочитаю соскочить на суицид.

Иван Алексеевич подлил бокал с вином, подержал его, потом как будто что-то вспомнил, налил вина в рюмку и поставил ее на чистую тарелку посередине стола.

Я понял все его приготовления. Он снова подлил бокал, посмотрел своими печальными глазами на меня, повел рукой к наполненной рюмке, стоявшей между нами, указывая мне на вино, и выпил до дна. Я молча последовал за ним. Так мы помянули Прасковью Васильевну.

С 1920 года в городе Медвежинске, — начал издалека Иван Алексеевич, — существовала подпольная антисоветская организация, участником которой состояли отец и брат Прасковьи Васильевны. Когда эта организация была властями раскрыта, то часть ее членов была арестована, а остальные бежали кто куда. В числе бежавших были отец и брат Прасковьи Васильевны, захватили они с собой и ее. В то время ей было 18 лет. Из бежавших участников организации впоследствии организовалась вооруженная группа бело-зеленых. Со своим огнем она больше не встречалась, но слышала, что он ушел в Польшу. Находясь вместе с брагом в Подгорненском лесу, Паша примкнула к банде Пономарева. В одном из боев с красными ее брата убили. В августе 1921 года она пробралась в станицу Подгорную, где ее поимали красноармейцы, но вскоре амнистировали, и она поступила в служанки в станице Отрадной к доктору Пономову, а квартировала у своей подруги Михайленко в станице Подгорной. В 1923 году ее арестовали за пребывание в банде и отправили в станицу Отрадную, но добрый начальник милиции освободил ее. По прибытии обратно в станицу Подгорную Пашу опять арестовали и угрожали расстрелом. Она из-под ареста каким-то чудом бежала в лес и присоединилась к отряду бело-зеленых, а точнее, к банде Ковалева.

— Не того ли самого, с которым мы встречались в Константинополе?

— Конечно, того...

Активного участия в банде она, конечно, не принимала. Была там, как и все, рядовой, но ког-

да произошло снятие малочисленных групп бело-зеленых банд под общим командованием Ковалева, последний предложил ей заняться вербовкой агентов в станицах, добывать информацию. И пошла она по заданию Ковалева по станицам для выяснения, какие стоят там воинские части, как там смотрят на бело-зеленых, что замышляет отряд Хоржика. Окопными путями, вступая в разговоры со станичниками, она выясняла настроения казаков. В станицах Угрюной и Вознесенской она обратилась по рекомендации Ковалева к Алексею Сухову, которого Ковалев тоже знал по службе в белой армии. Завербовав Сухова в осведомителя, она просила помочь тем, кто находился в лесу, но как и в Угрюной, на ее просьбы мало кто откликнулся.

В станицу Бессрабную пошел сам Ковалев, но тоже ничего не добился. Станичники и ему отказали в помощи. А сечь в лесу что-то надо было. Тогда он со своими подручными налетел на станицу и ограбил казаков. Унесли и увезли все, что могли: хлеб, одежду, обувь, оружие, скот.

Бело-зеленые жили в горах и лесах в полном неведении, что происходили события в мире. Лучшее для них положение, которое они ждали, была бы война против России.

От кого-то услышавши, что Польша пала на Россию, послали Пашу в Армавир выяснять подробности. Оправилась туда. Каждый раз после ее возвращения Ковалев в своем отряде рассказывал новости, которые она приносила. Но больше всего его, пожалуй, интересовали планы Хоржика против него. Ему нужен был осведомитель из людей, который общался бы с Хоржиком или его командой.

Выбор пал на меня. Но он послал Пашу ко мне Прява, не сразу она наведася, а искала людей, у которых я бывал или они у меня бывали. Ковалев считал, что со мною можно поговориться, но не знал, что я не мог простить ему бандитского убийства Каширского.

Паша довольно смело переступила порог моего дома. Рослая, крепкая девушка в казачьем остромочном кофточке, в штатке и сапогах, она превратилась передо мною, как лесная фея. Передачу мне принят, прозвучавший, как парол, от полковника Ковалева. Я сразу понял, зачем ее посылал предводитель лесной шайки летчик, но не собиравшийся задерживать курьера и выдавать ГПУ, хотя понимал, что рискуя жизнью, он спасает об этом Хоржик.

Прежде чем перейти к рассказу о разговоре,

предложил ей снять кожаную и поужинать, зная, что прошла она много верст и, наверное, проголодалась.

Своими заботами я поставил ее в довольно затруднительное положение, да еще подошел к ней, как галльский кавалер, в ожидании, пока она снимет свой кожанок, чтобы повесить на вешалку. Паша не ожидала такого ухаживания, какое-то время раздумывала, но усталость пересилила все ее опасения, и она сняла свою одежду, доверила ее мне. В руках я ощутил тяжесть одной полы и сказал ей, что она может не беспокоиться за предмет, лежавший в кармане.

Потом мы в ней долго сидели в сумерках и вели неторопливый разговор. Она старалась выполнить задание Ковалева, а я хотел понять, почему она примкнула к банде и не паравает с ней. И уже в тот же вечер я осторожно наводил ее на мысль, что не женское это дело — скитаться в горах, бродить, как бродячий бродяга, по станциям, подвергая себя опасности в любое время быть схваченной чекистами.

Паша больше затаенно слушала, не со всем соглашалась. Ей хотелось, чтобы я понял ее. «Не смотрите на мое лесное обличье. Я не такая, как вы думаете», — говорила она мне. Помню, спросила, как я отношусь к полковнику Ковалеву. Я ответил, что отношусь к нему, как к заблудившемуся в лесу человеку, пытающемуся найти выход, по кругу горы, лес, и он никак не может выбраться, ходит по кругу, а такой человек близок к отчаянию, так как его бивуак — это крохотная точка в окрестности, и надежда на спасение — почти никакой.

— Вы не согласились бы помочь ему? — как гимназистка, выполняющая благотворительное задание, спросила она меня, имея такое поручение от полковника.

Этот вопрос чуть было не рассмешил меня неопытностью в его постановке, наивностью, но я быстро собрался и принял серьезный вид. Значит, Ковалев все же рассчитывал на меня, испытывая ко мне до краев все мытарства у Деникина, Шкуро, Врангеля, побывавшего в Константинополе и познавшего жизнь на каменистом Лемносе. Я же вернусь домой, чтобы пахать землю и не касаться политики, и друг — опять предложение. Но за мной стоял Хоржик. Я знал, что он охотился на Ковалева и его банды. Я должен был ему помочь, чтобы больше не была казнь краша. Разговор с Пашей хотелось продолжить, и я предложил ей остаться у меня переночевать, гарантируя безопасность. Она согласилась. Она сказала, что ей отлегло на печке.

И на следующий день мне не хотелось отпускать Пашу в лес, да она и сама не хотела уходить, но нужно было выжидать. Я перекрестил ее. Добравшись она до бивуака и втроем утихла, дождавшись подосланных о разговоре со мной Ковалева, осталась довольна ее работой, поторопил руки, но не

пропустил того, что вернулась она несколько изменившейся, задумчивой. Видно, Паша не могла совсем скрыть своих раздумий после долгих переговоров со мной, которые заронили в ней какие-то сомнения во все то, что она делала, руководствуясь мстостью красным. Из леса вернулась она через два-три дня с заданием — разузнать, когда уйдет из станции отряд Хоржика, и каком направлении, по какой дороге.

Отряд ушел. Паша сообщила об этом Ковалеву, положив зашифрованную записку в тайник где-то за станцией. Я невольно был втянут в зацепку, которую, очевидно, готовил Ковалев коменданту Хоржику, хотя я и давал себе зарок во всех этих делах придерживаться нейтралитета.

Но представьте себе, как я обрадовался, когда узнал, что Хоржик, покинув со своим малочисленным отрядом станцию, изменил маршрут. «Ну, какой же он умница», — повторял я про себя. — Ключом груз снял с меня». А у Ковалева закруилось подозрение, что Паша продалась Хоржику, подсунив ему ложную информацию. Ковалеву она клялась и божилась, что она сама наблюдала, по какой дороге пошел Хоржик, сама написала то, что видела. Полковник, видимо, рассчитывал перебить отряд Хоржика, а у него все сорвалось. В гневе он рвал и метал, решив вывести Пашу на чистую воду. Ковалев снова и снова допытывался у Пашы о разговорах со мной. А через несколько дней она в темноте постучала ко мне условным сигналом в окно. С каждым разом мы все больше доверяли друг другу, и это доверие начало объединять и сблизить нас. Паша была моложе меня, и однажды я почувствовал, что в ее отношениях ко мне есть что-то невысказанное. Очевидно, она ждала от меня некой встречи с ней, а я не решался. Уже слишком не подходящее время было для объяснений в любви.

Ковалев дал ей задание встретиться со мной и передать его, полковника, приказ мне, есаулу прикончить красного дьявола Хоржика, добавив, чтобы я рассматривал этот приказ как не подлежащий обсуждению, поскольку он от самого Улага!

В подтверждение своих полномочий полковник Ковалев велел мне передать, что он прибыл из Константинополя с офицерами чья обязанность разрозненных отрядов белого движения, действовавших в горах Кубани. Ссылаясь на данные ему Улагом полномочия, он считал, что мог приказывать всем бывшим офицерам, служившим у Деникина и Врангеля, и я должен считать себя мобилизованным и выполнять его приказы.

Вот тут-то мы и задумались, как же нам быть, как выбраться из этого положения. Убивать Хоржика я не собирался. Сказал об этом прямо Паше. Но полковник требовал от меня что-то вроде письменного подтверждения получения приказа и принятия его к исполнению. Как мне рассказать Паше, такое задание он уже давал через нее от-

ному станиннику, обещая вознаграждение золотом на три пары волос. Мне никакого вознаграждения он не обещал.

Я решил расказать Хоржику, как на духу, о приходе ко мне связной от Ковалева, предложившей сотрудничество с бело-зелеными, и что я дал согласие, посчитав его полезным для Хоржика.

Комендант подробно расспросил меня о Паше. Я не удержался от восхищения смелостью казачки и даже, как будто меня кто-то дернул за язык, обмолвился о внешности и статности девушки.

— Понравилась? — спросил холодно Хоржик.

Пришлось сознаться — да.

— Значит, влюбился? Околдовала баба из бандитской берлоги. Считай, дело пропало. Завлекла она тебя своими чарами, а ты распустил слюни, растаял... Наверное, даже горяча...

Я попытался как-то оправдаться, сказал, что признался во всем по-честному, и заступился за Пашу.

— Не торопись, — предупредил меня Хоржик. — Вот если она поможет поймать Ковалева, тогда и посмотрим, кто ей люб — ты или он. Придется ее заарестовать. Где она?

— Ушла, — сразу соврал я, поняв, что ей не одобряют.

— Придет?

Определенного ответа я не дал, как и не сказал, что она принесла приказ Ковалева убить его. У меня не полорачивался язык произнести эти слова.

Хоржик опустил меня с условием, что я немедленно ему сообщу, если опять наведается связник от Ковалева. Ни жив ни мертв я бежал домой. Паша ждала меня, волновалась, уже собралась уходить.

Я долго раздумывал, как выкрутиться из этой истории. Можно было, конечно, написать полковнику записку, что приказ получил, но для его исполнения нужно подготовиться, потратить время, чтобы поразмыслить. Но с другой стороны — Хоржик предлагал выманить из леса Ковалева, устроить засаду и поймать его. Я хотел помочь Хоржику, но рассудил так, что если Паша пойдет с моей запиской, то полковник, догадываясь о наших с ней отношениях, оставит ее в заложниках, а от меня будет требовать, чтобы я убил Хоржика, угрожая мне моей же запиской.

Если ничего не отвечать Ковалеву, то мне и Паше грозила смертельная опасность. Сочинил я Ковалеву довольно витиеватый ответ, что, мол, приказ его мне понятен, но для этого потребуются подходящие моменты, и просил не торопиться с исполнением.

Я решил поступить по-рыцарски — Пашу одну в лес не отпускать, а пойти вместе для подстраховки, хотя оружие у меня не было. Я рассчитывал на ее паган.

Мы еще не дошли до тайника у большого валу-

на на горной тропе, как нас окликнули. Паша ответила паролем. Двое бородачей, скрывавшихся за деревьями, подошли к нам с обрезам наизготове.

— Кто таков? — спросил меня под дулом обреза.

Я представился. Мой приход был для них неожиданным. Взяли записку. Долго читали.

— Мудрено, — сказал один из них. — Она пойдет с нами, — кивнул на Пашу, — а ты вертайся. Полковник велел передать: за неисполнение его приказа — в расход.

Паша посмотрела на меня. Ее взгляд предупредил не торопиться, предлагал какое-то решение. Рука у нее была в кармане. Но как ей дать сигнал, что я ее понял, что надо выбрать момент и действовать? Задержать их и разоружить мы не могли. У меня даже на ки не было в руках.

— Я завтра вернусь, — сказала спокойно Паша. — Еще не все сделала в станции. Передайте полковнику.

— Приказ полковника — возвращаться с нами.

Один из бородачей, стоявший рядом с Пашей, повесил обреза на плечо, растегнул пуговицы на пиджаке и стирательно иекал карман для записки. Другой, с опущенным обрезом в руках, стоял около меня, держа палец на есауковом крючке. Я чувствовал, что Паша на что-то уже решилась. Предложил своей страже свернуть по цингарке махорки на дорожку.

— Прячь попадежней, смотри, не утерай записку есаула, — услышал я голос Пашы.

— Не извольте беспокоиться, — ответил ей казак, все еще роаясь в своем пиджаке с дырчатыми карманами.

В это время раздался глухой хлопок. Паша уложила наповал стоящего рядом со мной, занятого свертыванием цингарки. Все это произошло в одно мгновение. Я нагнулся за обрезом, Паша шагнула ко мне, но время было упущено. Ее охранник оказался уже за деревом и убежал. Видимо, он подумал, что я застрелил его напарника, а не Паша. Я выстрелил раз-другой по нему из обреза, пока он мелькал между деревьями. Моя записка с согласием прикончить Хоржика ушла к Ковалеву, но после всего случившегося полковник не мог поверить ни мне, ни Паше. Надо было решать, что делать дальше. Понади эта записка Хоржику, нам тоже не снести головы. Вот в какую ситуацию мы тогда попали с Пашей.

Иван Алексеевич отпил глоток вина и продолжил свой рассказ.

— По дороге в станцию мы с ней договорились немедленно уходить, куда глаза глядят. Паша была согласна на все. То, что произошло в лесу, сблизило нас навсегда. Большие мы уже не разлучались.

До нас доходили слухи, что Ковалева поймали и судили, но это уже было без нас. Сначала нам удалось перебраться в Польшу, разыскать там отца Паши, остановиться ненадолго у него, а потом уехать в Чехословакию, присоединиться к нашим эмигрантам.

Паша любила называть себя беглянкой, говорила, что хотела быть сильной, хотела мстить за своего убитого красными брата-офицера, упрекала себя, что в жизни она ничего не добила, ничего никому не доказала, гонялась за призраками мести, устала. Как-то призналась, что единственное, что у нее осталось, — быть моей помощницей, заботливой женой. И она преданно несла этот выпавший на ее долю крест до конца.

Иван Алексеевич сидел, растроганный воспоминаниями о дорогом ему человеке.

— Паша вбила себе в голову идею самопо-

жертвования, но ради чего? Здесь у нее не сложились концы с концами. С чистой совестью уверяла она меня, что не заблуждалась, а боролась. Но это была ее внутренняя борьба, самоистязание, если хотите. Никто этой борьбы не чувствовал, кроме меня.

Я не соглашался с Пашей, спорил, доказывал, поддерживал ее как мог, но она угасала на моих глазах.

Один я теперь. Один во всем мире. Давайте выпьем, полковник, за то, чтобы никому не пришлось испытывать одиночества, такой гурькой разлуки с любимым человеком.

Мы выпили, помолчали перед уходом из ресторана. Прошлись по лесу до шоссе, остановили такси и вернулись в Прагу. Больше Ивана Алексеевича я не видел.

Презентация, или Встреча друзей

14 июня в Краснодаре редакция журнала "Кубань", не расставаясь с жизненным оптимизмом, провела именины своего любимого детища, в обиходе названное модным нологизмом "презентация".

В испроемое время отмечаем мы свои торжества. Кошунственно разрушается держава, превращаясь сама в "географическое пространство" и превращая свой народ — в "народонаселение". Но мы отмечаем наши праздники, ибо душа народа еще жива, и мы помним скрепы народной жизни, освещающие нашу историю... — так обратился в своей поздравительной телеграмме к журналу "Кубань" Председатель координационного совета патриотических сил России Э. Володин.

Также на вечере прозвучали теплые слова поздравительных телеграмм и от главного редактора газеты "Советская Россия" В. Чикина, народного артиста СССР, члена редколлегии журнала С. Бондарчука, Атамана Союза кубанских казаков за рубежом Е. Баева.

И вообще на вечере царил подзабытая нами атмосфера праздника. За стенами краевой филармонии, где проходили именины "Кубани", еще гремели отголоски недавно прошедших выборов первого российского президента, а в зале, тепло встреченные присутствующими, выступали главный редактор журнала В. Кашакин; член редколлегии "Кубани", лауреат Государственной премии РСФСР писатель А. Знаменский; народный депутат СССР, сопредседатель депутатской группы "Союз" П. Пеструшенко; народный депутат РСФСР, член Верховного Совета, координатор депутатской группы "Россия" Н. Павлов и многие другие.

Редакция журнала "Кубань" высказывает сердечную благодарность всем своим друзьям-сопереживателям, пришедшим на вечер, а особенно — краевому Совету народных депутатов, без которого праздник журнала просто бы не состоялся, а также презентаторам-спонсорам "Кубани": ТУРКОМПЛЕКСУ "ДАГОМЫС", КРАСНОДАРСКОЙ ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ ПТИЦЕФАБРИКЕ, КРАЕВОМУ СПОРТКОМИТЕТУ, ПО "КРАСНОДАРМАСЛОЖИРАГРОПРОМ", КУБАНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ РАДЕ.

Гавриил Солодухин

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ОДНОГО КАЗАКА*

Мы все стремились перескочить в Сербию или во Францию. В Сербию не удавалось. Тогда батко начал хлопотать перед Донским атаманом генералом Богасевским о переброске станицы во Францию. Богасевский жил в Париже.

Переезд вела долго. Наконец пришло разрешение от французского правительства. Дано 50 безвизовых виз на усмотрение атамана Кубанско-Финляндской станицы полковника Елисеева. Началась спешная переписка со всеми, кто хочет ехать. За исключением немногих все хотели ехать. Но были и тяжкие ответы, например: хотел бы ехать, но женился на фипке, и жена не хочет покидать своей родины.

ВО ФРАНЦИИ

24 октября 1924 года Кубанско-Финляндская казачья станица, выехав на Гельсингфорс, пересекла Финский залив и высадилась в Германии. Проехав по железной дороге Германию и Бельгию, станица достигла Франции и была направлена французскими властями в город Туль, на распределительный пункт всех рабочих.

Через несколько дней, подписав трехмесячный контракт, станица была направлена на самый юго-запад Франции, в район города Лионн, у самой подножьи Пиренейских гор. Работа же была на химическом карбидно-синомитном заводе в местечке Мариньяк.

В конце апреля 1925 года полковник Елисеев получил из Парижа телеграмму от генерала Шкуро, который просил его немедленно же прибыть в Париж. Дня через три батко переехал, позвал к себе на совет меня как помощника атамана и хорунжего А. Д. Беловы и объяснил нам, что Шкуро организует большую группу казаков-джигитов. На это дает деньги Саказан, родом сириец. Желающим участвовать даны деньги на дорогу до Парижа.

Часа через два после нашего приезда на стади-

он "Буффало" прибыл туда и генерал Шкуро с "шестеркой".

25 мая 1925 года в два часа дня казаки — мировые наследники-джигиты открыли "первое представление — джигитовку" в столице Франции, в Париже, на стадионе "Буффало".

Стадион был переполнен публикой. Он вмещал 20 тысяч зрителей. Первым нашим представлением был "Парад". Открыл его хор трубачей в синих черкессках. За ними — хор песенников в красных черкессках. За песенниками — танцоры. Последними ехали верхом 80 джигитов — все в белых черкессках и в белых косматых папахах. В таких же папахах были и песенники. У хора трубачей были также белые папахи, но небольшие и мелкого курпеса. А впереди всего парада, верхом на лошади, ехал генерал Шкуро в черной черкесске и в "волчьей папаше". Джигитов же вел саул Парасенко, за которым следовали все "шестерка", то есть остальные ватеро главных организаторов. Хор трубачей играл марш. И как только он оканчивал играть — песенники пели старые песни "и погу".

Все представление имело исключительный успех. А утром того же дня, то есть до первого представления, часов в 11—12 дня, в открытых автобусах, по 30 человек в каждом, сидели казаки рядами, представляя собою русский национальный флаг: 6 пар в белых черкессках, 6 пар в синих и 6 пар в красных. И таких автобусов для рекламы было 8—10, ходили они по самому центру Парижа.

В то время Париж был, что называется, "в казачьих руках". По всему Парижу только и говорили про казаков:

Лихих сынов казачьих,
От прославленных отцов,
В джигитовке, в песнях, в танцах
Всегда видно молодцов!

Как орел могучий,
Высоко летает,
То Шкуро наш с казаками
В Париже гуляет.

* Окончание. Начало в № 2—4.

Проджигитовали мы на стадионе "Буффало" ровно месяц, и всю группу перевели в самый центр Парижа, на Марсово поле.

К праздникам Рождества Христова этого же года наша труппа в 17 казаков прибыла на работу в знаменитый французский зимний курорт, в город Ниццу, на берегу Средиземного моря. Город красивый, чистый, весь в цветах. Погода стояла хорошая, теплая, но для нас Ницца оказалась неудачной: мы там ничего не заработали. Ехать дальше было некуда. Не было и средств. 2 января "шестерка" продала лошадей, и все разъехались. Танцор группы Миша Жуков, казак станицы Суворовской, и я остались в Ницце и поступили танцорами в богатое ночное кабаре.

Это было началом моей артистической карьеры. И началом моих встреч с людьми другого для меня мира. Там я встретил артистов-профессионалов и роскошно одетых посетителей и посетительниц. Здесь пришлось впервые танцевать вблизи от сидевшей за столиками публики, которая следила за каждым моим движением.

Сколько я тогда перенес там стыда! Бывало, станцию лезгинку с кинжалами, а меня зовут к столику. Жмут мне руку... Благодарят за танец... А сами суют в руку 10—20 франков... мне так совестно брать их, эти деньги. У меня в то время глаза от стыда вылазили. И дают еще стакан шампанского: "Пей!" А я тогда почти ничего не пил, и мне не хотелось пить. Но надо "инть". Ведь это для нашего хозяина лишний заработок. А самое худшее, что я не любил, когда меня просили сесть к ним за столик и с ними есть. Боже мой! Я боялся этой "еды" потому, что эти богачи ели всякие деликатесы, как, например, живых устриц, жареных лягушек, срезах, сыры, овощи и прочее. А я как взгляну на их стол, хотя и богато украшенный, но не могу ничего ни есть, ни пить...

Михаил же Жуков, как говорится, был уже "тертый калач" в этом отношении, стал меня учить, да еще ругается: "Эх ты, станица! Ты должен к этому привыкнуть и все есть! Ты теперь артист. Ты будешь все же встречаться вот с такими людьми, с аристократией, а эта нища, которую ты брезгуешь, считается лучшим деликатесом. Понятно?" А я ему отвечаю: "Да я тебя понимаю, но что же, по-твоему, мне нужно лягушек да черепашек есть? Нет, уж лучше умереть, чем их есть..."

В начале марта 1926 года я получил письмо из Парижа от князя Арчила Андронникова. Он предложил ехать с ним джигитовать в Америку в цирк "Миллер-Бродерс". Предложили мне недельное жалование не больше того, что я уже зарабатывал, но мне захотелось поехать в Америку, и я прибыл в Париж.

В то время в Париже формировались две группы джигитов. Одну из них формировали Кубанского Войска генерал В. Д. Савицкий и князь

Андронников, а вторую — сотник С. И. Проценко и инженер Мелихов. Эту вторую группу финансировала американская компания "Муви капитал корпорейшен".

Проценко и Мелихов предложили мне большее жалование в три раза, чем князь Андронников, и я поехал с Проценко.

Первая группа казаков генерала Савицкого в составе 18 джигитов, одного танцора и 25 музыкантов духового оркестра выехала из Парижа в конце марта 1926 года, а вторая, в которой состоял и я, — 50 джигитов, 35 певцов, 5 танцоров, 30 музыкантов духового оркестра, одного доктора медицины, одного ветеринарного фельдшера, доисского казака Власа Даниловича Маслова, двух чувашников — полковника Моралина и подпоручика Гамалия и одного портного, сотника Топчия, — эта группа прибыла в Нью-Йорк 12 мая 1926 года.

В АМЕРИКЕ

Итак, наша казачья артистическая труппа в Нью-Йорке. Первое впечатление от города — неважное: он показался очень грязным. Но ночью, с его многоцветными электрическими рекламными, он показался мне самым красивым городом в мире.

Первое наше представление началось в середине июня в "Мэдисон Сквер Гарден".

Наша финансовая компания купила для нас лошадей большей частью невыезженных. Дрессировать их и заниматься репетициями было нелегко. Поняли все же плохое место с малым манежем в какой-то "Рейдинг академии", то есть в "Школе сзцы". И мы открыли свое первое представление — с сырыми, не втянутыми в работу лошадьми.

Скажу откровенную правду: для такого города, как Нью-Йорк, избалованного лучшими мировыми артистами, наше представление в течение двух первых недель было слабым, пока мы "не обломали" своих лошадей, да и сами себя не втянули в работу. Но наш успех завнес немедленно отсрочку 6-7 дней, когда зал был полон публики. Все места были заняты. И, конечно, на первые представления прибыли репортеры всех газет. Вот эти "тузы" в своих газетах и высказывают свое мнение и свой взгляд о любом представлении. Им, как опытным в своем деле людям, публика верит. И с первых же наших представлений эти репортеры стали нас "крыть" ужасно. Нам смущали с грязью...

После такой критики недели две пришлось выступать "для пустых стульев" — публики было 500—600 человек, не больше, а в помещении было более 12 тысяч мест. К тому же и дело было плохо поставлено нашими финансистами.

После 3-недельных представлений в Нью-



Г. Сокодухин исполняет кавказскую лезгинку с кинжалами.

Йорке нашу труппу перевезли в город Кливленд, в штате Огайо. Там мы выступили в закрытом помещении. Но площадь для нашей работы была еще меньше, чем в Нью-Йорке (да, короче фугов на двадцать). Но к этому времени наши лошади привыкли к работе, и теперь представления были хороши, как говорится, на все сто процентов. В каждом сеансе мы имели большой успех. Все места для зрителей были заняты. Выступали там семь дней. Реклама была рассчитана также на семь дней. Но затем нашу труппу уже без всякой рекламы оставляют в Кливленде еще на семь дней. Пошли слухи, что умер президент "Финанс капитал Муви корпорейшен", который лично субсидировал нашу труппу. И как только мы закончили выступать в эту вторую неделю, то получили приказ: расходиться, кто куда... компания нас дальше не берет.

Большие половины людей разбежались. Убегали чаще музыканты, певцы и танцоры и всего несколько джигитов. Нам осталось не больше пятидесяти. Наши "старшие" Проценко и Мелихов достали для нас работу. Через четыре недели наша потрепанная группа была доставлена для джигитовки на Всемирную выставку в городе Филадельфия, в штате Пенсильвания. На этой выставке наш успех был средним. Проработали здесь недели три, и группа выехала джигитовать на ярмарках. В Сент-Луисе мы имели колоссальный

успех, несмотря на то, что каждую ночь лил дождь и нам пришлось джигитовать в грязи. Ввиду такого успеха по радио и в газетах было объявлено, что ярмарка продлится еще неделю. В то время сотник Проценко уехал в Голливуд просить, чтобы "Метро-Голдвин-Майер студия" перевезла нас туда. И только мы закончили свою работу в Сент-Луисе, как ночью получили телеграмму от Проценко: "Постановка картины "Казачи" откладывается на год. Казаков пока не берут. Поэтому расходись, кто куда хочет. Но присылайте мне свои адреса и, когда понадобится, я выпишу вас сюда, в Голливуд". И наши казаки начали расползаться, как муравьи, кто куда. Но мы, 11 неутомимых джигитов, не согласились так легко отказаться от своего артистического призвания. Мы решили самостоятельно ехать в Голливуд. Сообща купили три автомобиля и, хотя все мы ими никогда не управляли и никогда не сидели за рулем и не держали в руках ничего, кроме казачьей уздечки, двинулись в Голливуд, до которого от Сент-Луиса было свыше двух тысяч миль.

КАЗАКИ-ДЖИГИТЫ В ГОЛЛИВУДЕ

Голливуд принял нас, "знаменитых" наездников-казаков, сурово, неприступно. После долгой дороги и многих автомобильных аварий мы прибыли туда с совершенно пустыми карманами. В то время сотник Проценко уже имел контакт с фильмовой студией "Метро-Голдвин-Майер". По его ходатайству нас вызвали туда через три дня. Мы прибыли в студию. Все были в чересках. Нам посадили в две открытые машины марки "Кадиллак" и повезли по всему Голливуду и Лос-Анджелесу. Над нами летал аэроплан и сбрасывал ленточки, в которых писалось: "Знаменитые мировые наездники-казаки будут участвовать в картинах студии "Метро-Голдвин-Манер".

На другой день мы прибыли в указующую студию, а нам говорят: "Очень сожалеем, но мы свой план переменили". Контракта мы не получили, но шумиху вокруг нас сделали большую.

Первая наша работа статистами в фильме по роману знаменитого русского писателя Л. Н. Толстого "Воскресение". Снимались мы в октябре 1926 года. В этой картине были заняты также такие звезды, как мексиканка Долорес Дельрио и Рогге Рокс.

В декабре и январе того же года мы снимались во второй картине. Она называлась "Последний бой" (это бой генерала американской армии Кастера с индейцами). Мы, казаки, работали в этом фильме "индейцами" — совершенно голые, только спереди интимное место было прикрыто маленьким куском кожи. И как в Калифорнии было тепло, но работать в зимние месяцы то нам было холодно.

Нас красили коричневой краской, чтобы мы выглядели, как настоящие индейцы. В наши волосы втыкали перья. На лошадях мы скакали без седла. Уздечек не полагалось. Лошадей зануздывали веревкой. Мы имели луки и стрелы.

Сюжет картины был такой. Индейцы окружили американскую армию. Командующий армией, которого представлял полковник Тим Маккой, на коне скакал с небольшого уклона, чтобы пробиться к своим солдатам. Отобрали нас, четырех казаков, и сказали нам, чтобы мы с флажков по очереди набрасывались бы на героя. Он будет всех нас сбрасывать с лошадей.

Переводчик все это рассказал нам, но я его не понял. По плану действий я лично должен был наброситься на этого американского героя последним.

Съемка началась. Первым бросился на героя Никита Сахио. Герой сбил его с коня, и тот упал на землю. Вторым бросился Андрей Стадник, но герой сбил и его на землю. Третьим бросился Мишка Штиглицкий, но герой сбил и его и продолжает скакать карьером вниз. Подошла моя очередь и я думаю: "Ну-ну, дорогой мой, уж ты от меня не уйдешь! не вырвешься!" На всем карьере я подсккал к герою и со своего коня прыгнул на его коня, тут же схватил его за шею и моментально стянул с седла, бросив на землю. Тут на меня как заорет режиссер!.. Я думаю, в чем же дело. Тогда я совершенно не говорил по-английски, но по жестам режиссера и "звезды" вижу, что они меня ругают. Тогда наш переводчик им сказал: "Этот казак не говорит по-английски и не понял, чего от него хотят". Все засмеялись. Полковник же, Тим Маккой, аж воскликнул: "О-о, ка-зак!" и любезно, с улыбкой пожал мне руку.

В картине мы были заняты месяца два. Вот там-то мы впервые показали американцам казачью удачу и смелость. Там, где по ходу действия нужно упасть с лошади на землю на полном карьере и "представиться убитым", мы ударились о землю, как живые мячи. За каждое падение мы получали по 35 долларов сверх обычной платы. Для того времени это были хорошие деньги. В Голливуде нам поражались. Говорили, что казаки не люди, а черты. Они, видимо, слеpleны из теста, потому что как упадет с коня казак, так снова на него и встанут как ни в чем не бывало.

С того времени нас звали многие в студию.

В 1930 году поступил я в "Русско-американский артистический клуб". В нем было больше 20 артистов и хороший балалаечный оркестр из 9 музыкантов. К нам в клуб приходили студийные тузы, продюсеры, режиссеры и экранные звезды. Через студийных тузов нам, клубным артистам, перепало работать на съемках картин статистами. Жилось нам в то время, можно сказать, неплохо, несмотря на большую тогда безработицу в Америке.

Недели через три ко мне приехал донской казак Николай Александров и просит дать ему три кинжала. Хозяин его ресторана попросил, чтобы Александров танцевал лезгинку с кинжалами. У меня в то время было 16 кинжалов. Я дал ему три, а дня через 3—4 кто-то приехал к нам в клуб и говорит мне: "Казак!.. Ты поезжай и посмотри, как Александров танцует с опиями. Получается очень эффектно".

Я приехал в тот ресторан, где танцевал Александров лезгинку по-донскому, с присядкой. Александров вышел танцевать, зажгет свои кинжалы. Я смотрю, действительно, очень эффектно. Я его спросил, как это он выдумал? И как он делает, что на кинжалах появляются огни?

Он мне все показал и рассказал, кто его научил этому эффекту. Оказалось, братья Прохановы — музыканты балалаечного оркестра, которые играли в том же ресторане. Раньше братья Прохановы были в Германии и работали на съемке картины "Белый дьявол". Звездой этой картины был русский артист Иван Мотжухин. В этой картине изображены ночные танцы с факелами. Братья Прохановы наматывали на рукоятки кинжалов вату, а чтобы эта вата не спадала, обмотали ее тонкой крепкой проволокой. Потом рукоятки кинжалов с ватой макают в дрессенный спирт. При танце гасится свет, и в это время зажигают кинжалы и танцуют с ними.

В первую же субботу я в своем клубе приготовил большой сюрприз всем артистам: вышел танцевать лезгинку, и во время танца все десять кинжалов, которые я держал во рту, вдруг запылали огненным пламенем. Этим я произвел на всех большое впечатление. С этого дня я стал танцевать лезгинку только с горящими факелами. И благодаря "Русско-американскому артистическому клубу", где я танцевал все время, меня стали приглашать сниматься в кинокартинах.

В 1931 году многие артисты нашего клуба получили контракт от компании "Франсин и Маркс". Эта компания составила из русских артистов труппу в 33 человека. Труппу назвали "Рашен арт айдия". Порядок наших номеров был таков. Открывалась сцена, и шел смешанный хор из 15 певцов и певиц. Потом играл хороший балалаечный оркестр Миши, куда входило 9 музыкантов. После трех сыгранных оркестром пьесей я выступал сольно, танцуя лезгинку с горящими кинжалами. Мне аккомпанировали два оркестра сразу: балалаечный и театралыный. Одет я был по вкусу и выбору компании: череска красной тонкой легкой шелковой бархата, которая на фоне театрального освещения отличалась красивыми отливками. На мне — черная каракулевая шапка, белый шелковый бешмет и белые-белые, из тонкого шифона вывие колен ноговицы, светло-голубого цвета бриджи. Я танцую лезгинку больше на пальцах и совершенно свободно, как по-казачье-

му говорится, "на когтях". Оно и есть именно так, на когтях. Бзлерины танцуют в специальных твердых туфлях, и они становятся ровно на пальцы. А кавказская лезгинка танцуется в мягких ноговицах (сапогах). Мои пальцы подгибаются вниз, и я становлюсь именно на ногти.

Я имел десять кинжалов, которые были заткнуты под пояс. Когда подходило время сделать с кинжалами во рту несколько "па" для эффекта, я засовывал два кинжала между шеей и воротником бешмета, не глубоко, но так, чтобы они не выскочили. Два кинжала беру в рот в разные стороны. Два кинжала вставляю в рот рукоятками вверх. Два кинжала держу во рту впереди и в каждой руке тоже держу по кинжалу. В этот момент весь свет в театре гасится, и в темноте я беру зажигалку, которая висела у меня на боку, как маленький револьвер. Нажимаю спусковой механизм, отчего раздается небольшой выстрел и сразу же вспыхивает огонь. Этот огонь я подносил к рукояткам своих кинжалов, которые были смочены спиртом. Кинжалы мои моментально вспыхивали пламенем. Я становился на свои когти и "шел" задним ходом по всей сцене. В это время давали большой круглый спад света только на мои ноги. Светом показывали публике, как я хожу и прыгаю на своих "когтях". А после я бросал изо рта горящие кинжалы в специально выставленную на сцену доску, к которой была привязана тонкая веревочка. Когда побросало все свои кинжалы в эту доску, сразу зажигается везде свет, и я раскланиваюсь перед публикой, ухожу со сцены, а со мной вместе, рядом, тянулася на перепонке доска с горящими кинжалами. Все кинжалы были поткнуты в доску и стояли опиями кверху. Успех везде я имел бесподобный.

ВСТРЕЧА С БУДУЩЕЙ ЖЕНОЙ

Ровно через месяц после того, как мы закончили турне в апреле 32-го года, меня опять выдвигает в контору та же компания "Франсин и Маркс", где я только что оттанцевал 34 недели. В конторе мне говорят: "Казак, мы хотим, чтобы ты опять поехал танцевать по тем же самым местам... По теперь мы хотим, чтобы танцевал ты вдвоем с партнершей". И они объяснили мне, как они хотят поставить на сцене мой номер и большой кордебалет. Там же, в конторе, пообещали "достать" мне хорошую партнершу-балерину.

В среду в десять часов утра я прихожу в зал, где проходили репетиции.

Вскоре пришел Мишка и говорит: "Здорово, казак, ну, я тебе уже подобрал партнершу" И Мишка зовет: "Людмилочка!.. Идиде сюда!"

Она была в то время совершенно босая. Штанчики на ней были короче и только покрывали ее мягкие тельце. И были покрыты ее маленькие, выпуклые груди. Густой длинный пушистый во-

лос ее как-то до того смешно был закручен наверху!.. Она мне покзалась совершенным ребенком, лет 14, не больше.

Мишка нас знакомит и говорит: "Это тебе, казак, партнерша. А это тебе, Людмилочка, наш хороший казак!" И Мишка продолжает: "Слушай, казак! Ты сегодня танцуешь в Русском клубе?"

"Да, танцую!"

"Программа начинается в девять часов?" — спрашивает он.

"Да, в девять", — отвечаю ему.

"Людмилочка, ты сегодня прийдиди в клуб часам к восьми. А ты, казак, тем ее встретишь. Людмилочка, посмотришь его номер, будешь знать, что от тебя требуется. Я же сегодня очень занят и приду в клуб позже. Пока!"

Мишка ушел, и мы остались вдвоем. Я не стал с ней разговаривать. Я обвел ее глазами с ног до головы и говорю ей: "Я сегодня занят, пойду. Встречу вас в клубе".

И ушел. В этот раз я поступил с ней очень грубо.

Прихожу домой злой, как никогда, и про себя думаю: "Мишка! Я тебе сегодня отпою. Я гордый казак, и ты мной командовать не будешь! Навязал мне свою какую-то знакомую, чтобы я с ней танцевал. Да ведь она еще ребенок. А мне надо такую, чтоб, если подойдет, понравится, то и жениться на ней".

В шесть часов вечера я пошел обедать в Русский клуб. Привел туда и Мишка. Он подсаживается ко мне за столик и спрашивает: "Как, казак, нравится тебе партнерша?"

А я зло отвечаю: "Ну и партнершу ты дал, все равно, что ребенка подбросил".

"Как, ребенка?.. Ей уже тридцать лет... Я ее с 19-го года знаю. Она очень хорошая балерина. Дочь героя русско-японской войны генерала Мищенко. Так что ты, казак, не капризничай! А если вздумаешь завоевать ее, то и жена для тебя будет такая, что лучше и не найдешь. Она скромная, уминая и не ветреная."

То, что она дочь генерала, мне льстило. Но и то же самое время у меня промелькнула мысль: "Ого, птица высокого полета. Такую, пожалуй, подстрелить будет трудно."

К восьми часам вечера я вышел из клуба, чтобы встретить ее. Ровно в восемь идет моя партнерша. Ботинки у нее на высоких каблучках, и теперь она выглядела не такой уж маленькой. Подошла ко мне, здороваается. Она мне показалась тогда неописуемой красоты. Она была хорошо одета, тошно и скромно. Пожки у нее ровные, с южно выточенные. Ее фигурка — как сделанная статуэтка. Глазки большие, красивые, блестящие. Волос длинный, густой, темный, красивый и завит вокруг ее маленькой головки.

Придя к себе, я как мог, нежно поклонился



Пирамида. У казаков на плечах казака И. Солодухина, уроженца Миценко.

ен, взял ее под ручку, привел в клуб и посадил за столик, который мною был приготовлен заранее. В этот момент я пришел к ней, "как репей к пивчке".

В "Пыжском таборе" я танцевал казачка. Лезгинка же была моим последним номером всей программы.

Оркестр заигра "Молитву Шамиля". Публика, которая видела меня в этом клубе сотни раз, ободрила криками. Сцена была не маленькая, но на этот раз я хотел бы, чтобы она была в десять раз больше. Я хотел летать по сцене, но на ней для меня не хватало воздуха. Как я танцевал — сказать себе не могу. Кто меня видел в те годы, пусть тот скажет. Как только я танцевал и вышел раскланиваясь перед публикой, сразу же подбежит к сцене наш клубный официант и говорит: "Казак, мне режиссер Ван Стеренберг дал двадцать долларов, чтобы ты "накачал" их кинжалом". Он свернул эту двадцатидолларовую бумажку вдвое и положил на пол у ног на сцене. Я бросил первый свой кинжал, и сразу же попал острие кинжала в эту двадцатидолларовую бумажку, прямо в ее середину. И еще промче стали аплодисменты. И мне кричали: "Браво, браво, казак!"

Я пошел к Людмилочке с полной радостью и успехом. Села близко к ней. Она была очень скромная, говорила тихим голосом, медленно, но отчетливо и красиво. Она сразу же делает мне комплимент: "Как вы хорошо танцевали! Я первый раз в своей жизни вижу такой прекрасный танец. Мне так хотелось бы с вами танцевать! Я бы так старалась научиться этот танец. А кинжалами вы меня не зарежете?"

Я ей ответил: "Ежели вы будете нечестной для меня партнершей, то зрежу!". Она так и залилась смехом.

"Но если я буду честная?" — говорит она.

"Тогда я оставляю вас безразличной."

Она опять залилась: "Ха-ха-ха!" Во время смеха Людмилочка склонилась вниз немного свою головку, а я в тот момент — раз! и поцеловал ее в висок. Она сразу же приняла серьезный вид и говорит: "Ого! А мне сказали, что вы очень застенчивы с барышнями, а меня кинули целовать. Вы не застенчивый, а гордый!"

Я попросил извинения, сказал: "Людмилочка, извините меня! Это у меня вышло неожиданно!"

А она мне отвечает: "На этот раз я вас прощаю. Я понимаю вас сегодня: после такого успеха вы готовы всех расцеловать в клубе."

"В одном вы, Людмилочка, права, но в другом — нет. Я слишком гордый казак, чтобы без выбора целовать бы кого попало. Я позволил себе только вас поцеловать."

Она серьезно посмотрела на меня и говорит: "Да? Я с первой же нашей встречи замесила вашу гордость казачью."

"Дорогая Людмилочка, у казака есть все достоинства, чтоб быть гордым."

Она улыбнулась и говорит: "Не будьте так уверены в себе. Надеюсь такая, которая вашу казачью гордость сломит."

"Да, Людмилочка, если вы на это способны, быть может, перед вами сдамся."

В это время официант принес нам чашечки, я налил в них "скач-виски", взял свою, выполненную этим напитоком, и говорю: "Ну, Людмилочка, давайте выпьем за нашу первую встречу, и чтоб она была не последней."

Она взяла свою чашечку, подняла ее вверх и говорит с улыбкой, медленно, отчетливо, сладко и красиво: "Я пью за вашу хорошую гордость! Желаю вам оставаться таким всегда!" И при этом так кокетливо морщилась мне своей красивой черной бровкой и сразу "хлопнула" все до дна.

В этот момент меня, как электрическим током, ударило. И этот вечер у меня прошел так весело и радостно и с полной надеждой на будущее!..

Через несколько дней я сказал Лани, как стал называть Людмилу, что надо сделать пирамиду на лошадях. Она, беденькая, перепугалась и говорит: "Как же я смогу это сделать? Ведь я в своей жизни и возле лошадей не была."

Я стал ее утешать: "Не беспокойтесь и верьте мне! Вы это сможете сделать." Она согласилась.

Поселили лошадей. С сотником И. Д. Копорезовым везлишки мы были дикие. Я объяснил Лани, как надо стоять на плечах и как держаться за шест. Лани стала нам на плечи. Мы поехали шагом. Я спрашиваю ее: "Ну как, Лани, не боитесь? Голова не кружится?" Она отвечает, что нет, все хорошо.

Отъехав футов на шестьсот, я стал объяснять ей: "Теперь отсюда мы пустим лошадей карьером. Вы держитесь, стойте и не падайте. Когда мы начнем трогаться, я крикну: "Ги!" В это время вы подайтесь всем своим корпусом вперед, чтобы не упсть назад. А когда мы будем скакать, вы держитесь одной рукой за шест, а другую ручку поднимите вверх и этим покажите, что вы лихая казачка и вам все нипочем. А когда мы будем добегать до места, где нужно останавливаться, я крикну: "Го!" В этот момент вы берите шест в обе руки, и свой корпус немного склоните назад, для того, чтобы не упасть вперед. Все вам понятно?"

"Я все поняла. Пускайте", — отвечает она. Мы с места крикнули: "Ги!", кони рванулись карьером, и когда мы доскакали до указанного места, я вскрикнул: "Го!" Мы остановились, и в этот момент услышали ее радостный, словно детский глас. Она закричала по-английски: "Хупи!"

Я ее спрашиваю: "Ну как, Лани, не боитесь?"

"Нет, я еще хотела бы пробежать. Мне так легко и хорошо стоять!"

"Ну, хорошо, пробежим еще", — отвечаю я. В этот вечер мы проскакали с ней четыре раза.

За нами наблюдали три ковбоя. Они, что называется, были поражены! И говорили нам, как она легко, смело и красиво ехала!

Ну, думаем, зачем же загла приездать? Она стоит на пирамиде хорошо, а нам, старым опытным джигитам, репетировать не нужно.

За ночь, пятницу и субботний день мы с Лани ехали ей бешмет и бриджи. А в воскресенье наша втроем джигитовка у ковбоев прошла с большим успехом. Моя маленькая Лани была так рада! Ги очень хотелось научиться ездить на лошади и научиться джигитовать. Она стала задавать мне своими вопросами. На следующую неделю, в среду, мы начали выступать с ней в театре.

Мы давали четыре номера: сначала "Аджидо", потом она танцевала свое "Аджидо" — классический танец на пуангах, затем выступала также "соло" — в лезгинке. Свои выступления мы заканчивали вдвоем, танцуя "казачок". Это выступление занимало девять минут. Успех был хороший.

В последний день нашего выступления в театре "Миллион долларов" нас, казаков-джигитов, вызвали в контору. Там нам предложили джигитовать в "Колизеуме" четвертого июля, в День независимости. Предложили каждому по пятьдесят долларов за выступление. Мы очень обрадовались и сразу же подписали контракт. Я устроил и Лани. В той же конторе я лично получил контракт на одно выступление в лезгинке в "Голливуд болл", где устраивался концерт в честь Всемирной олимпиады, которая проходила в 1932 году в Лос-Анджеесе.

После нашего первого выступления в театре "Миллион долларов" меня позвали в контору и платили недельное жалование. Я зашел к милой Лани в комнату, дал ей половину своих денег и говорю: "Спасибо, маленькая Лани, за то, что у нас все так хорошо и успешно вышло". Произнеся это, я обнял ее за маленькие плечики и хотел поцеловать. Она меня слегка оттолкнула и говорит:

"Дорогой Гаврила, вы не подумайте, что если я ваша партнерша, так вы можете позвонить себе все. Этого я не желаю и не хочу, чтобы вы целовались со мной! Понятно?!"

Я извинился перед ней.

После возвращения в Голливуд мы зарегистрировались гражданским браком.

Публикация подготовлена Виктором ЛИХОНОВЫМ.

Михаил Меншиков

Шейлок и Джессика

ИЗ "ПИСЕМ К БЛИЖНИМ"

Финляндское "брожение умов", погром евреев в Гомеле, армянские беспорядки на Кавказе.. Эта неделя напомнила нам, что, кроме внешнего кольца врагов, русская народность имеет еще внутреннее кольцо, состоящее из сырых, незамиреных племен, нам враждебных. Как чувствуется теперь, что широкие завоевания Екатерины и Александра были сделаны лишь "начерно" и до сих пор остались в черновиках. Мы забыли уже самые имена завоевателей, а оказывается, что те войны еще совсем не окончены. Положенные под сукино огромные дела вынычиваются, требуют нового пересмотра, нового и уже окончательного внимания. Беспечно огложенные на столетия инородческими вопросами принимают вид хронических яв. Не дальше, как сейчас, рядом с нами две великие империи агонизируют, раздражаемые инородческими смутами. А сто лет назад разрешенная от инородческого вопроса погибла соседняя, когда-то великая держава. Оставивший нам это в наследство социальный рак — еврейство, конечно, самый опасный из окранных вопросов. Шведо-финнов у нас четверо меньше, чем евреев, армян — в десять раз меньше, и те и другие расположены в глухих улах. Восьмимиллионное же полчище евреев занимает самую уязвимую из наших границ и, несмотря на чергу оседлости, движется ничем не отвратимым нашествием. Гомельский погром выдвинул новую черту этого нашествия: крайнее раздражение еврейских масс, их вызывающий тон, их наклонность с оружием в руках отстаивать свои позиции. Это продукт, с одной стороны, сознания евреями своей многочисленности, с другой — последствия страстной проповеди сионизма. Сионизм — движение романтическое и, мне кажется, весьма тревожащее. За высшей целью — созданием еврейского царства в Палестине — кроется вообще подъем национального чувства евреев, то есть еще большая отчужденность от христиан, еще большая к ним враждебность. Добудут ли евреи Палестину — крайне сомнительно, но что массы еврейства будут разрушены в их национализме, что они будут политически раздражены, нагнаны на борьбу, — это неизбежно.

Есть евреи смиренные и есть озлобленные до

трагизма. В Петербурге теперь с большой роскошью поставлен "Венецианский купец" Шекспира. Вот комедия еврейской вражды, самой дьявольской, непримиримой. Привла, волею автора, комедия полна смеха и торжества жизни над глубиной злобы, но каких страданий, каких тяжких усилий иногда стоит это торжество!

Мы сидели среди волшебной ночи перед единственной в мире набережной Венеции, перед дворцом дождей и сверкающей феерической лагуной. Гола каменных палаток, узеньких площадок, высоких мостиков, перекинутых через канал, гондолы, нестрай улица и поющая атмосфера венецианской ночи, как бы насыщенная мелодией дальних песен и мажорных, — все это передо мной чудесно. Сказать кстати, как не грех говорить, будто Шекспир устарел и "Венецианский купец" не интересен! По-моему, это превосходная комедия. В пяти строчках ее больше ума и жизни, чем в пяти актах многих современных "идейных" драм. Ума и жизни тут так много, что, как крепкое вино, пьесы Шекспира уже, может быть, не под силу слабым нервам теперешней публики. Избыток ума и жизни рвется из легкой фавулы, окружает нехитрые нити ее великолепным кружевом мысли. Уследить за последней нелегко, — но какое наслаждение, если вы успеваете следить за нею! Шекспир подобно Пушкину и в противоположность множеству современных драматургов, — оба удивительно умны. Их чувство, неспрашенное по свежести, дышит такой разумностью, такой ясностью понимания, что сразу ощущаешь себя точно в уменьшенном кислорододе. Говорят иногда: "Венецианский купец" — легкая комедия, это не столь глубокое, проникающее в дух человеческий творение, как "Гамлет", "Отелло", "Король Лир" и пр. Гам страсти и немощи трагические, там делается оценка той таинственной сущности, которую мы зовем душой. Здесь же, в "Купце", забавный анекдот, намешка над еврейством, не больше. Мстительный "жид" хотел на законом основании зарезать христианина, но запутался в петлях закона и плеснулся. Порок наказан, добродетель торжествует. Я не согласен с этим теплым взглядом. Очень возможно, что Шекспир, как простодуш-

ный гений, рассказал казусную историю как она есть, без задних целей, просто, чтобы позабавить публику, поволновать ее причудливой игрой рока. Но как все, что творит гений, и эта пьеса оказалась выше своего замысла. Каждое поколение открывается в нем новым разумом: великий символ развертывается пророческими и откровениями, которые могли оставаться невидимыми самому автору. Художнику принадлежит изображение, потомству — толкование жизненной правды. Иначе не было бы вещей бессмертных, провожающих человеческий род и каждой эпохе говорящих что-то особенное, для всех вечно.

Мне кажется, "Венецианский купец" даст великолепные символы для великой борьбы между древностью и новым временем, между иудаизмом и христианством в частности. Вдумаемся в комедию Шекспира. Перед нами Венеция XVI века, гордая царица морей. Под южным небом среди голубого моря точно повисли мраморные дворцы и храмы. Бесмерное богатство, собранное со всего света. Безмерная роскошь, утонченность вкуса, изящество манер. Вольное купечество, державшее, как Англия, в одной руке весы, и другой — меч, постепенно переродилось в гордую аристократию, и вот здесь, на поливных островах, у мощей евангелиста Марка, средневековое христианство расцвело самым пышным цветом. Бесшумное веселье, разгул, музыка, песни. Все хочет быть молодым, влюбленным, умным, красивым. Такая полая, оторванная от древности жизнь, как она отстоялась к эпохе Возрождения. Она еще жестока, но чем-то туманным веет в этой веселой, по-детски шаловливой жизни. Чувствуется, еще темного, и этой молодежи — Бассано, Лоренцо, Грациано — закатится братства, справедливости, идис Руссо. Но вот среди этого счастливого, как бы охмеленного от счастья христианства вырисовывается лицо старого еврея. Это сама древность, выглянувшая из-за складок современности. Шейлок один среди тысячи, но он замечен, он центр драмы. Он и христианском обществе играет роль страшную и важную. Что-то совсем противоположное и что-то неопределимо родственное с христианством. Он враг Христа, и это пропасть непреходящая. Но он богат, как все эти блестящие ищущие, и потому он — сила. Он ростовщик, он торгует самым страшным товаром — деньгами, приобретает их дешево, продаст дорого. Он подвергается бесконечным унижениям и погоне за золотом, он живет и умирает преисполненный к нему, он извивается на тысячу ладов, он не знает жалости и, как паук, душит опутанные им жертвы. У себя дома он верующий, преданный, верный муж и нежный отец, его жизнь добродетельна дома и сплошное злодейство вне дома, среди христиан. Там он беспощаден, он кланит к ним неукротимой ненавистью. Наслаждение мести — вот его мечта. Таким образом великий наблюд-

атель еврей своей эпохи. Таким представляли себе еврея средние века (исключая, конечно, и библейского "Венецианского купца", относящегося к XVI веку).

ЖИВАЯ ДРЕВНОСТЬ

Шейлок — олицетворение всего еврейства, каким оно вот уже около двух тысяч лет стоит лицом к лицу с христианством, несомненно, враждебное, гонимое, но не побежденное. Но что такое еврейство, как не живое остаток древности, единственный представитель античного мира, единственный островок, уцелевший от огромной Атлантиды прошлого. Исчезли Эллада и Рим, Вавилон, Египет, а их современник — иудейство — все еще теплится как особый кулак и отстаивает дух незапамятных старин. Борьба еврейства с христианством не переносимая древность, это борьба времен и цивилизаций, борьба остановившегося и ушедшего вперед. В то время, как все народы древности переродились, евреи, по той же формуле, упорно стоят на своей древней формуле. Они живые выходы из язычества — с их пор чужды христианству и ведут с ним ту же борьбу, что 19 веков назад. В зоологии есть одинокие представители допотопных, уже вымерших пород. Они сокращались и ведут даже борьбу с новыми условиями природы, борьбу выжестную и выжестную.

Христианство, или, точнее, новая жизнь — несомненно, несниг евреев, несниг безотчетно, и столь же безотчетно евреи и древний мир в их лице дают отпор христианству. Когда с Людьми Возрождения ожил дух древности и возникло поклонение язычеству, ожило и еврейство: борьба его с христианским обществом сделалась решительнее. Шейлок — олицетворение этой борьбы, мстительной и корыстной. Шейлок-мститель. Шекспир как бы хочет сказать, что, вопреки холодному взгляду, не корысть, движущая еврейством, сила, а месть. Шейлоку не жаль потерять три тысячи червонцев, даже иное и штрое, лишь бы наследить тибелью Антонию. "Фунт мяса, сны-оры! Фунт мяса, и по возможности ближе к сердцу!" — кричит он. Это месть не личная. В Шейлоке оскорблен не человек, а еврей. В Шейлоке горит некое все его святое племя, древний Израиль, Богом набранный, не ищущий унижения народ. Шейлок взял на себя месть народную, как Самсон, и вот ее формула: "Фунт мяса" — и никакой пощады!

Нажиться, но что бы то ни стало нажиться, — страстная мечта большинства евреев. Отдельные евреи иной раз не знают, зачем нужно нажиться, зачем сложиться в века это насильственное владение. Но еврейство как нация это знает. Безотчетно, смутно корысть по иске выплывает чувством борьбы и мести. "Мы жиды христиане" — мы б

выше их. Мы отберем у них богатство. Их дети будут служить нашим детям." Библия — это боевой клич "народа Божия". Она две тысячи лет говорит им, устами пророков, о том, как они унижены и как будут некогда возвеличены. Со времен Навуходоносора для евреев так сложилась жизнь, что только корысть может быть оружием их борьбы с народами. Не мужество, не просвещение, не святость, а богатство дает им власть в мире. Если бы власть добывалась святостью, может быть, имя Ротшильдов носили бы святые. Но в конце концов даже цель святости был бы тот же крик: "Фунт мяса, синьоры!" — унижение соседних народов, гибель их.

"Фунт мяса" у Шекспира довольно психологичен. Он символизирует практику еврейской борьбы. Заметьте: еврей требует только фунт мяса, какой-нибудь двухсотой доли всего тела. Так и обыкновенный ростовщик ставит должнику на вид хотя и болезненное, но выносимое условие — всего 50% на 100. По это условие обыкновенно связано сроком и неустойками, удешевляющими тяжесть уплаты. Получается рана "как можно ближе к сердцу". Как Шейлоку своими силами не удалось бы вырезать у Антонио и золотника мяса, как Шейлок делает орудием своего плана христианскую же власть, закон государственный, вексель и суд, так и каждый ростовщик, будь это Ротшильд или индий Мошка в Бердичеве. Оба опираются на христианскую сиречьличности, на правосудие, на равенство перед законом. И представьте ин закона, как вот этот дож Венеции с судьями, — хотя чувствуют себя явно одураченными, но не имеют выхода. Судья внутренне убежден, что вексель недобросовестный, что долг давно уплачен, что еврей запосит пож на христианина, и все же выдает еврею этот пож в виде дополнительного листа, за государственную христианскую печать. Не всегда является влюбленная Порция, которой любовь внушает мудрость и способность отвести этот пож. Бесчисленное множество Антонио на всем пространстве христианского мира зарезаны мстительным еврейством, бесшумно, без всякой драмы, и зарезаны пожом именно христианского правосудия. Последнему недостает гениального прозрения, вселившего влюбленную девушку: "Бери фунт мяса, но ни капли крови." Если бы христианское правосудие шло дальше буквы и в глубь каждого спора, оно сумело бы вернуть еврею то, что принадлежит ему, не вырывая сердца, не истончая кровью, не швыряя гибельных расстрелов и жизнь своих христианских подданных. Шейлоку предлагали деньги, он настаивал на фунте мяса. Христианство всегда предлагало пользоваться еврею

всем, что еврейство добудет действительно честным путем. Но еврейство этим не удовлетворено. Оно добивается до чужого имущества, до самого неотъемлемого, самого необходимого, которое похоже на фунт мяса "по возможности ближе к сердцу".

ПЛОХАЯ АФЕРА

Умен ли Шейлок? "Шейлок бесспорно умен, — говорит автор предисловия к переводу (П. И. Вейнберга) "Венецианского купца". — Он способен глубоко чувствовать и возмущается против позорного презрения, на которое осужден. Он знает, что среди преследующих его христиан он не найдет себе защиты, и потому вынужден сам доказать все благоразумие заветного в старые годы правила "зуб за зуб и око за око".

Я никак не могу согласиться с этим мнением, ни с "благоразумием" названного правила, ни с "бесспорным умом" Шейлока. Еврей хитер, он задумывает алскую месть. Повторяю же время как он странно глуп, той глупостью, которую наводит злоба. Индивидуально он может быть умен, но он глуп национально, общему еврейскому дурью, которая в нем, как в мстителе за еврейство, особенно повышенная. В самом деле, что тут умного: жить в прекрасной Венеции, в цивилизованной стране, среди изящного, беснечного народа и оставаться чуждым всему этому? Что умного: оставаться презренным жидом, копая в себе оскорбленное чувство и ненависть, ненависть без конца? Что умного: подвешивать себя и свою дочь и все потомство операции мучительной, перевариванию в чужом желудке, не желая ни выйти из этого желудка, ни перевариться? У Шейлока не хватило ни мужества, ни разума, чтобы сплечь с собой облик, в моральном отношении, очевидно, невыгодный для него, явно гибельный. Но таков и весь еврейский народ. Национально он не умен. Взвесьте беспристрастно судьбу этого народа, что в ней умного? Потерять территорию, государственность, независимость, язык, культуру, растерять все решительно, кроме древней мечты о своем избранничестве, похожей на магию величия, и приобрести имя "жид", — как хотите, это плохая афера. Разобраться по свету и всюду в течение двух тысяч лет так устроиться, чтобы быть предметом отвращения, подчас гонимый самых свирепых, — что тут умного? Пусть тысячи евреев сделались миллионерами и сравнительно благоденствуют. Но миллионы евреев? Их нищета невероятна при всей их ловкости, хитрости, неутомимости, при страшной затрате энергии. Евреи не видят, что направление этой энергии выбрано не умное. Оно хищническое, и этим самым еврейский народ поставил себя во враждебные отношения ко всему свету. Потеряв землю, этот восточный народок своей землей выбрал тело европей-

ских рас, преимущественно славянской. Я уже сравнивал еврейскую массу с чашей лиан, обвинявших высокостебельные породы. Естественно, что организмы, еще желающие жить, употребляют все средства, чтобы отделиться от себя паразитов. Стеснения евреев, "гонения" на них вполне естественны, они прямо неизбежны. Но что тут умного: в течение столетий ставить себя, и оказавшие им гостеприимство народы в почти безвыходное положение?

Вы скажете, разве не трогательна эта верность евреев своей национальности? Может быть, и трогательна, — отвечу я, — но она в данном случае не умна. Умно и благоразумно оставаться верным чему-нибудь высшему, но то, что составляет еврейскую особенность, вовсе еще не есть высшее. Истинно живую национальностью следует считать отбор всего совершенного, жизнеутверждающего, высокого. Национальность — это грубая условность, наиболее благоприятная для расцветания нации. Пока иудеям наиболее благоприятствовал счастьем евреев, они были живою национальностью. Теперь же они давно уже составляют одно бедствие для своих носителей, все равно, что старая кожа, из которой змея не может выйти. Что тут разумного: задыхаться в искусственном обособлении, придерживаться вымершего, явно низшего склада идей, явно несовершенного мироощущения?

Евреи жалуются на "черту оседлости". Но если бы они были умным народом, они давно бы сделали из пятнадцати губерний, им предоставленных, провинции Хаана, текущей медом и медом. Черта оседлости так обширна, что в ней поместилась бы Франция и Германия, взятые вместе. Но евреи только и умели, что высосать соки из бедного славянского мужика. Вложить свои соки, свою энергию, свой труд и разум — они на это оказались неспособными. Черта оседлости открыта к западу, то есть евреям открыт весь мир, но разве и на Западе евреи бедствуют? Горжествуют отдельные хищники, масса же евреев страшно бедствует и в Лондоне, и в Нью-Йорке.

Есть страшная "черта оседлости", которая действительно губит еврейство и в которую они себя сами заперли: это иудейзм. Вот где они задыхаются как рыба. Вот гибельное гетто, которое они должны разрушить. "Мы — евреи, мы избранный народ Божий. Остальные народы — гонимые нами в добычу". Вот безумный предрассудок, который держит потомство Иакова в плену. Евреи не замечают, что они давно, в самой сущности дела, перестали быть древними евреями, что, уж раз они потеряли территорию, царство, язык, культуру, это явное доказательство, что избранничество их кончилось. Есть раса еврейская, сию же смешанная с другими, но нация уже нет. Она развращена, она потеряла не только права, но и реальные условия существования. Остался, вы

скажете, закон Моисея. Для своего времени это был закон высокий. Но евреи не замечают, что это давно уже ветхий закон, что уже 19 столетий, как дан другой закон, более совершенный, более жизнеспособный, более отвечающий счастью людей. Евреи думают наоборот, но это-то и не дает им чести их уму. Более одаренные европейские народы, одни за другим приняли закон Христа. В нем и у греков, и у римлян, у галлов, германцев, славян были свои религии, не менее законченные, чем закон Моисея. В них было не менее познания и морали. Эти старые культы были очень дороги нашим предкам, покидать их была большая мука. Но что же делать? Почувствовав иную, хотя и чуждую, но более совершенную красоту духа, европейцы по-детски потянулись к ней: чуждое сочли более своим, чем родное. В самом деле, если свое родное кажется грубым, темным, жестоким, то почему же оно родное? Покорнее нужно отделиться от него и взять, как у неблагодарных, искры откровения, хотя бы из бесконечной чаш. Решимость, столь великодушная, доступна лишь народам свежим. Путь много отшатнул, чтобы лучшее чуждое предпочесть своему, для этого много нужно душевного величия. Переход к христианской, более совершенной религии показал прирожденную даровитость европейцев. Но, что евреи остались в старом культе, доказывает умственную их косность. Никогда слышавши, что евреи шествуют во главе прогресса. Но как нация это самый консервативный из среднеземных народов, племя, установившееся в пункте самом ложном, в пункте духовного своего роста. Даже персы, даже римляне еврейские аристы обновили дух свои в новой, более широкой вере, — евреи остались верными своей древности. Нет сомнения, что в Библии даны основы совершенного закона, но поглотить на них, как на фундаменте, здание нового богообщения они не пожелали. Они, как глухие забороч, окружили своих пророков туманом ищущей науки, темной и бесплодной, они создали себе пагубные мысли хуже египетского и вавилонского. Право же, это не доказывает ума нации, а доказывает только его односторонность. Вся душа в них вошла в одну линию, в одну точку, и народ еврейский застыл на тысячелетия, точно в каком гипнозе. Только этим гипнозом и объясняется то, что евреи сохранились: они сохранились, как окаменелость в толпе других пород. Более яркая раса непременно истиснула бы к своим условиям и слилась бы с европейцами. Евреи гордятся верностью закону, но верность ли это? Если органическая живая форма кристаллизует, делается неподвижной, — жизнь ли это? Великая вера, потерявшая способность принять новое откровение, не превращается ли в идиологическое? Нетаром одна из первых житейских, диних евреев среди громов и бурь, предостерегала Израиль от творения кумира. Не даром то и

ко что данные Богом скрижали пророк разбил в отчаянии отчуждая евреев от идолов. Недаром так склонны были евреи менять храм Иеговы на капище Ваала. Кончилось тем, что они свою древнюю веру обратили в великого идола, в деревянное "подобие" живой веры. Вот в чем истинное богоотступничество. Отступив от человечества, презрев все чужое и запершись исключительно в "свое", евреи тем самым отступили от живого, всегда творящего, всегда обновляющего жизнь Начала.

ПРЕКРАСНЫЙ ВЫХОД

Что делать еврейству? Если оно хочет остаться еврейством, то что же ему делать, как не бежать не только из России, а отовсюду, ибо везде народы начинают бояться этого племени, выжимать его из себя. Если хотят быть нацией — им нужна территория, независимость и все атрибуты державного народа. Осуществимо это или нет? Если осуществимо, то бесконечными трудностями. Растениям ползучим, выходящим не оторвать себя от леса, в котором они переплелись на жизнь и на смерть. Меньшинство уедет, огромное большинство останется. Что же делать миллионам оставшимся?

У Шекспира я нахожу чудесный совет еврейству. Вспомните красавицу Джессику, дочь Шейлока. Она влюбилась в венецианского юношу, молодого, красивого, как она сама. О том, чтобы ее отец согласился отдать дочь христианину, — об этом не шла бы мечта. Что же делает девушка? Она убегает от отца, переходит в христианство и вместе с возлюбленным начинает новую, очаровательную жизнь. По-моему, она сделала превосходно. Что же было делать бедной Джессике, если ее сердце променяло отца на мужа? Дома, по ее признанию, был для нее "ад". Отец — жадный, темный, жестокий, дышавший ненавистью к христианам, а жизнь христианская, где бродил ее милый, казалась ей такой восхитительной, беспречной, полной радости! Еврей затирал свою дочь, но жизнь проникла сквозь каменные стены, захватила ее, перепернула. Убегая из затхлого логовища ростовщика, Джессика разве не убежала из плена? Разве она не спасала свою еврейскую свежесть, молодость, красоту? Весь разум жизни? Это было не бегство, а спасение погибающей, и она бежала, влюбленная, в христианские обаяния, на века вечные отсекая себя от гнилого корня.

История Джессики — это глубокий символ, если хотите — пророчество, в которое евреям полезно шикнуть. Пусть старое еврейство остается помещенным в своем идолопоклонстве самому себе, пусть оно дышит бессильной ненавистью к христианам, пусть оно плетет свои сети, как может. Анось, христианские народы и самую крайнюю минуту сумеют сказать Шейлоку: "Постой!

Бери фунт мяса, но ни капли крови." Нет сомнения, что еврейский капитализм, как бы он ни разросся, не спасет еврейство и не погубит христиан. Итак, пусть Шейлок делает, что может. Но что касается прелестной Джессики, что касается всего, что в еврействе молодо, невинно, прекрасно, что влюблено в лучшие начала христианской культуры, несравненно более человечной, чем иудаизм, — пусть все хорошее в еврействе спасается, бежит из гнилой берлоги.

Родной дом — святилище, но лишь когда он дает жизнь и радость. Когда же он грозит гибелью, он хуже западни. А иудаизм как вера есть правдивая гибель, ибо он дряхл и несовершенен и отвергнут человеческим родом. Еврейство вырождается в иудаизм и физически, и нравственно. Оно гложет в своей исключительности, оно вооружает против себя все народы, оно держится на уровне холодного от всех отчуждения. Зачем это? Еврейству следует разбить эту психологическую черту оседлости и слиться с христианством так же искренно, вот как эта милая Джессика, всем существом своим, всеми восторгами души. Сама истина, которую заключал в себе ветхий закон, спаслась, так сказать, бегством в новое благовествование, в обширный мир человечества. Пусть же все, что есть живого в еврействе, полюбит христианство и бежит к нему. Пусть захватит с собою и все бриллианты, добытые Шейлоком: все упрямство этой нации, трезвость, проворство, изворотливость и блеск практических способностей. Всего этого, может быть, недостает у христиан. Но главное — пусть, подобно Джессике, забудет родной дом.

Вы скажете, благородно ли изменить вере предков? Я спрошу: благородно ли не изменить ей, если она несовершенна? Разве еврейству не изменили апостолы Христа и первые христиане? Разве сам Христос, рожденный в еврейском законе, не отошел от него? Вера предков... Не преиспещается ли "вера предков" в "веру предков" вместилище веры в Бога? И притом, что же тут хитрить. Сколько-нибудь образованные евреи разве искренно верят в свой закон? Разве хотя бы иудеи не предпочитают ему Евангелие? Приверженность к еврейству для образованных евреев есть воцре политический, а не религиозный. Помешаны лицемерия и побольше ума и человечности, и евреи давно толпкою хлынули бы в христианство. Генералы они назойливо навязывают себя всем народам. Им и предлагается войти в наше общество, по началам равенства, такими же христианами, как мы. Они же хотят неслыханной привилегии — войти особой нацией, праждебным христианству союзом. Это опасность слишком очевидная, и с нею всякая власть, уважающая свой народ, непременно вступит в борьбу. Итак как исход этой борьбы угрожает конечным поражением евреев, то просто из человеколюбия хочется посоветовать

им: последуйте идее Шекспира! Все, что есть среднего, молодого, доброго, умного, бегите в христианство, а старое и жестокое пусть отмирает естественной смертью. Отчего вам не перенять все лучшее, что у нас есть в христианстве? Мы же переняли все лучшее, что есть в еврействе. Убегая к нам, вы встретите почти все свое, но очищенное, омытое кровью мучеников и мудрецов. Вы встретите все старое и родное, что и мы любим, как свое родное. Но исторический хлам, ненависть, отчуждение, изуверство, талмуд и кабалу, — все это придется, конечно, бросить. За четыре тысячи лет тяжелого исторического пути мало ли чего не пристанет к ногам. Если не отряхивать ног, дальше и идти нельзя. Еврейство как еврейство уже давно не движется. Оно стояло бы на месте, если бы толпа народов не несла его на себе к идеалам своей общечеловеческой культуры.

Жизнь как она есть сильнее еврейского упорства. Сопрогивленные напрасно. Подобно шекспировской еврейке великое множество евреев и евреев увлекаются в поток христианской жизни. Евреи, чуть выдвигающиеся из уюта, охотно бросают свой закон. Как бы ни обнаружился у евреев талант, он непременно захватывается христианским искусством. Если еврей грабят христианские кошельки, то христиане грабят у еврейства дарования. В еврействе остаются из века в век только темные и бездарные элементы. Может быть, это и повлияло на религиозный застой этого племени. Как высыхание угрожает замкнутому морю, вырождение неизбежно для всякой замкнутой группы. Даже физическое вырождение. При невероятной иногда плодовитости еврейства

как не могут дойти даже до древней своей численности. Их свежие элементы рассыпаются в христианстве, несвежие, одеревенелые гниют на корню. Поглядите на еврейский пролетариат в западных местечках. Более жалкого физически племени трудно встретить в Европе. Если что внушает христианам ужас и отвращение, то это не только капитализм еврейский, но и еврейская нищета. Последняя, подобно проказе, пугает не одну Россию, но и Англию, и Америку. Рядом с разжиревшим и — простите грубое слово — обнаглевшим миллионером-евреем стоит не менее опасный нищий "жид", несчастный, голодный, с оскаленными зубами. Оба паразиты, оба страшны, один — силой, другой — крайним бессилием. Оба ведут против христианского общества разрушительную работу. Обоим живая христианская стихия старается безотчетно переварить или выбросить из себя.

Еврейство шумит и бродит, оно делается воинствующим, политическим. Кое-где оно переходит из обороны в нападение. Но это похоже на кризис в болезни. Христианский мир слишком громаден, чтобы не справиться с этим воспалением. Еще немного, и евреи типа Джессики поймут, что они гибнут, что еврейство для них омут, что спасение на христианском берегу. Евреям же типа Шейлока, мстительным и непримиримым, придется или бежать в пустыни Африки, или умереть в отчаянии.

Таково, мне кажется, художественное пророчество Шекспира об окончательной судьбе Израиля.

Валерий Родиков

Кто командует парадом?

Лето 1991 года. Красная площадь. По старинной брусчатке на одного педераста дистанции, по-братски, торжественно вихляя ладами, парами, взявшись за руки, проходят гомосексуалисты "Дурдом", — подумает читатель после этих строк. Не скажите...

Как сообщил вездесущий "АиФ" (№ 5, 1991) со ссылкой на "Ассошиэйтед пресс", Р. Калинин — редактор зарегистрированной Моссоветом газеты "Тема", председатель Ассоциации сексуальных меньшинств, заявил, что летом этого года международные активисты планируют провести парад гомосексуалистов на Красной площади.

Повод для торжества у столичных гомосексов есть. Впереди числа марта демократическая печать — "Куранты", "Независимая газета", "Московский комсомолец", "Комсомольская правда" и прочая, прочая, прочая с воодушевлением сообщили, что Моссовет выиграл судебный процесс у газеты "Каретный ряд". На защиту чести и достоинства моссоветовских депутатов и зарегистрированной ими газеты "Тема" — издания сексуальных меньшинств — ринулся сам заместитель председателя Моссовета Сергей Станкевич. Автор нашумевшей публикации в "Каретном ряде" 17-летний начинающий журналист допустил оплошность: не зафиксировал на магнитофонном разговоре с Р. Калининым и моссоветовским депутатом Л. Ю. Абаюшкиным, а те на суде от своих слов отказались. Итак, победа! Суд принял форму пинок, содержащуюся в письме Станкевича.

Правда, чтобы защищать честь и достоинство, надо бы их иметь. А где они? Если верить еженедельнику "Ветеран" (№ 22, 42, 1990), то сам председатель Моссовета Гавриил Попов прямо-таки скабрелный тип. И ничего, проглотил он эти обвинения. Так, попортил для порядка. Дескать, цель таких публикаций — помешать ему работать и свободное от заграничных премия, которого, увы, у него никак мало. Или вот если бы он высушил бы бокальные деньги, эдак полмиллиона, не меньше, то игра бы стояла свеч. (Видно, не

хватает у председателя не толи кощес и достоинства, но и денег, одна его дача, по шестым оценкам, более 400 тысяч стоит). И вот что удивительно, ни ВС СССР, ни Моссовет не прореагировали на серьезные обвинения в адрес своего депутата. Правда, перед 8 марта Гавриил Харитонович попытался публично отмыться, для чего осуществил свое погружение перед объективами телекамер в ледяную купель в Серебряном Бору. Не знаю, поможет ли этот маоистский трюк очистить городские улицы и наполнить товарами опустевшие полки столичных магазинов?

Но вернемся к "Теме". Позицию Моссовета популярно объяснил в "Огоньке" Д. Катаев, председатель Межведомственной комиссии при Моссовете по общественным объединениям и средствам массовой информации: "Мы знаем, что в уголовном кодексе есть статья, преследующая за гомосексуализм. По законам, направленные против преступлений, не запрещают о них писать. Так что для отказа в регистрации мы не увидели никаких оснований. Наши личные антипатии роли не играют, если мы строим правовое государство. Любому суд удовлетворил бы иск заявителя".

Да, логика железная. Но скорее всего Д. Катаеву было бы уместнее говорить о "личных симпатиях", нежели об "антипатиях", и вот почему. Д. Катаев, видимо, забыл о таких понятиях, как мораль, нравственность, а может, вообще о них представления не имел. Да Бог с ними, и правом государстве с этим можно не считаться. Но коли гомосексуализм наказуем, то не является ли регистрация "Тем" актом пособничества нарушителям закона? Ведь и заявитель Роман Калинин, личность демократической прессой разрекламированная, своими гомосексуальными наклонностями бравирующая. Моссоветовские "Куранты" посчитали нужным протиражировать (со ссылкой на подпольную газету "Сексбеспредел") публичное заявление редактора "Темы", "что он не стал бы спать с Михаилом Горбачевым". (Вот это гласность!) А еще дальше — выдержки на эту же

"тему" — про некрофилов, педофилов, скотолобов и прочих представителях сексменьшинств.

Да и в программных целях и задачах "Темы", опубликованных в "Огоньке", ясно говорится: "Информация о жизни и проблемах сексуальных меньшинств в России и других странах". Так кто же эти сексуальные меньшинства, за которые вступился Моссовет? Его же собственный орган "Куранты" не оставил на этот счет никаких сомнений.

Да, наш суд стал много демократичнее. Не то, что во времена застоя, когда приключилась одна "иркутская история". В разгар брежневщины, как емко окрестил то время Даниил Гранин, судили в Иркутске педагога-педераста, или короче — педра. На суде сей гомосексуал из высшей школы удивился: "Что это за демократия, если я не могу свободно распорядиться задней частью своего тела?" Не знаю, реабилитировали ли застойную жертву однополую любви, но, похоже, их час пробил.

"Мы сейчас освобождаем наше общество от пиета тотального режима, делаем человека не на словах, а на деле свободным от многолетних догм, от многолетнего попирания человека человеком. И рано или чуть позже, но неизбежно в нашей стране, в России наступит Демократия..." — пишет в газете "Куранты" (№ 3, 1990), органе демократического Моссовета, 27-летний мужелюб Анатолий Н.

А что такое демократия в их понимании, нам уже популярно объяснил иркутский свободолоб. Видимо, так понимают Демократию и депутаты демократического Ленсовета во главе с юристом А. А. Собчаком.

"Посмотрите на наш город, который находится в блокадном состоянии: раздет, разут, с разбитыми дорогами. Но первым делом депутаты решают заниматься не этими проблемами: они подписывают ходатайство об отмене статьи 121 УК РСФСР, карающей за гомосексуализм.

Вот после всего этого и захотелось посмотреть: что это за люди — депутаты Ленсовета. Кто они? Вчерашние безработные (временно не работающие, как они говорили во время предвыборной кампании). Хотя на языке застоя это называлось хлестким словом "тунеядец". Люди, паразитирующие на уголовном прошлом, выдавали его за прошлое политического характера. Мученики..." Это выдержка из интервью "Комсомольской правде" (20.10.90) тогда еще не подстреленного Александра Невзорова. Сегодня и иркутского задомана, пожалуй, назовут сытым великомучеником...

"...Точно известно, что часть депутатского корпуса, тех людей, которые делают сейчас погоду, все их избирательные кампании финансированы тремя кооперативами, наиболее могучими. Причем финансирование производилось тайно и обошлось примерно в 300 тысяч рублей каждому кооперативу... В составе Ленсовета 76 человек, судимых по уголовным статьям, и 34 человека находятся на учете в психдиспансере. Не в качестве политических репрессий и КГБ. А по болезни с детства..." (А. Невзоров, "Вечерний Ленинград", 1.12.90).

Мэр Собчак сказал по поводу пресловутой "тоталитарной" статьи УК РСФСР о гомосексах: "Я не считаю, что это правильный закон..." ("Вечерний Ленинград", 10.12.90). Интересно, как бы восприняли это заявление матери тех мальчиков, которые стали жертвой московского и новочеркасского "фишеров" или ставропольского Сливко, насильовавшего и убивавшего мальчиков только в белых чистеньких рубашках? Кстати, и новочеркасский сексуальный маньяк-изверг поступал в МГУ на юридический, тоже намеревался стать юристом. Окончил бы, вступил в диалог с Собчаком, — вот бы мы получили плюрализм и демократию...

В свое время юриста Керенского охранял женский батальон. Может быть, сегодня юристу Собчаку для своей охраны учредить батальон лесбиянок и забаррикадироваться с ними в Зимнем дворце до следующих выборов? Ведь в городе постреливают, как в 17-м, и такие же очереди да еще карточки, как в блокаду. А вдруг еще и "Аврора" жажнет. Не для того ли ее отремонтировали большевики, чтобы разогнать демократический Ленсовет? (Когда фельетон был написан, узнал, что, действительно, организуется дорогостоящая охрана Собчака. А все-таки лесбийский батальон был бы дешевле для городского бюджета, они бы за идею бесплатно сторожили).

Кстати, Керенский в своей предсмертной биографии признается, уже с 1912 года он был масоном, а "при современной социальной и культурной системе гомосексуалист автоматически оказывается членом международного масонства". Так, во всяком случае, утверждал в 1958 году журнал американских сексуальных демократов "Уан". Вон куда цепочка потянулась. А что? Похоже. Александр Федорович бежал из Питера в женском наряде. Присм у этих "сестер" довольно распространенный. Интересно, в каком наряде побегит из Петербурга мэр Собчак?

Во времена застоя гомосексы и интимные любители всякой живности пребывали в забвении. Не этим ли объясняются наши экономические провалы?

Зато сейчас любите не традиционного секса берут рваный. Сколотый — герон комсомольских и домашних пидорек показывать пидорский пидорпримеч. То ли пидорпримеч "скотопидорский", то ли пидорпримеч ленинградским решением, один ленинградец (об этом рассказал Александр Невзоров в передаче "600 секунд") воспылал страстью к своему пидордаву. По порождению сука не читала "АпФ", "Собеседник", "Куранты", "Гему", не знала о происходящих переменах и совершила членовредительство.

Главный редактор "Огонька" Виталий Коротич, объявивший себя "ценным псом перестройки", наверняка развешивал заклеивал кусачую собаку "ценной сукой засгон". На старом Арбате, сам пидел, продаются значки с надписью: "Коротич, фас!" Представляете, если он сорвется с цепи? А если подобные перверты собьются в стаю? Караул!

Но стареет "ценный". Только в декабре прошлого года была помещена в "Огоньке" достопамятная повесть консерваторам из "Карецкого ряда", "Правды" и других органов, которые не приемлют демократию свободных задов. Да, реакция уже не та. Не помогло даже зарубежное патаскивание в Колумбийском университете, где в 1959 году обучались будущие перестройщики: главный ее архитектор А. П. Яковлев и ныне уже бывший генерал от КГБ О. Д. Калугин. Пособно бросается в глаза аналогия: у перестройки — архитекторы, прорабы, у них — камешники.

Информация к размышлению: А. П. Яковлев — один из пидорпримеч авторов учебника "Пидорный кичмучинизм" для студентки пидор, пидордавшего много пидорпримеч; прежний борец с пидорализмом и марксизмом, а ныне — за пидорализм без марксизма, за пидоризацию пидоризации (академиком).

А прочем, с Коротичем не все так просто. Он сам называет себя собакой. А если учесть, что его "Огонек", по существу, подбодрился сексеченщицей, а значит, и сексологом, то, естественно, возникает вопрос: кто у него хозяин?

У меня нет сведений о составе Моссовета, таких, как у Невзорова по Ленинскому, но гуляет упорный слух, будто один из лидеров Моссовета скрывается под париком, да еще в придачу усы приклеивает... Вождь — то понятно, пидордавал парик, когда от буржуазии прятался. А от кого маскируется моссоветовский "фигурас"? В первом же своем номере моссоветовские "Куранты" пидоризовали Президенту, что пора, мол, пригласить "голубых" в Кремль. Пидорже от Буша отстанать. Передовик Буш якобы уже проникся их

особенностями и принял однополых любовников в Белом доме. Правда, не все разделяют симпатии американского президента. Так, палата представителей вынесла порицание конгрессмену-демократу Барни Френку (по суровости это наказание следует за крайней мерой — изгнанием из конгресса) за то, что он использовал свое влияние как законодателя для оказания помощи своему другу-гомосексуалисту.

Что ж, демократы — всюду демократы. К примеру, демократ Гудман, по словам бывшего коммуниста Юрия Чурбанова, так демократизировал следственный процесс: угрожал отпираться его в Бутырку к гомосексуалистам, если тот не даст пужных пидору показаний ("7 с плюсом", № 5, 1990).

В связи с фактическим признанием Моссоветом сексуальных меньшинств его энергичный председатель-заграничестественник Гавриил Попов сможет использовать свои талонно-распределительные таланты в пидорной сфере, например, впервые в мире ввести талоны на пидоростребованные из моргов трупы для пидорфилов, а еще лучше — осуществить их приватизацию путем аукционной распродажи. Демократично и рыночно, пидорже времени! И с гробами будет полетче. А еще лучше — на экспорт, за валюту...

А как быть с жильем для однополых пар? Может быть, демократический Моссовет организует для них льготную очередь?

А вот еще один глас демократии — "Российская газета" (18.01.91) — с воодушевлением сообщает, что у московской "Темы" появился сибирский брат. В Барнауле вышел первый номер газеты "СВ" сибирского союза гомосексуалистов и лесбиянок. Одна из целей газеты — помощь в поисках друзей и единомышленников. Если раньше были "клубы красных следопытов", то теперь появились еще и "голубые следопыты".

Ума не приложу, почему все-таки демократы не любят Октябрьскую революцию. Ведь едва придя к власти, наши первые паркомы почти сразу же, правда, без шумихи, исподтишка, отменили все законы против любителей не традиционного секса. Новая власть пыталась и "голубых" союзников. "Любимец партии" П. Бухарин выпускал под своей редакцией первую советскую энциклопедию, в которой акцент сделан на необходимость вовлечения сексуальных меньшинств в социалистическое строительство и свободном от "буржуазных предрассудков" обществе.

"Репозиция не оставила камня на камне от старых бюрократических, деспотичных и крайне ненаучных законов, — просвещает молодежь

"Собеседник" словами Григория Баггиса, одного из ведущих советских специалистов по половому вопросу после 1917 года. — Буржуазные законы всегда составляются без учета данных науки... Что касается гомосексуализма, содомии и различных других форм сексуального удовлетворения, которые европейское законодательство рассматривает как угрозу общественной морали, то советское законодательство относится к ним как к так называемым "естественным" половым отношениям. Все формы половой жизни являются частным делом".

Виктор прошлого года я был близ историко-архивного института. Приятель, здесь работающий, сказал: "Хочешь, гомосексов покажу, они в историко-архивном собираются". Спешил я очень, не до того было... Но подумал: почему это Юрию Афанасьеву, ректору историко-архивного, Октябрь не по душе? Души-то родственные.

Символично, что в газете "Паритет" (№ 3, 1990), среди учредителей которой первым значится "Всесоюзный центр кино и телевидения для детей и юношества", рядом со статьей демократа Юрия Афанасьева "Октябрьские тезисы" соседствует публикация А. Быстрицкого "Гомосексуализм и перестройка". Они прекрасно дополняют друг друга. В своих тезисах педагог-историк призывает к разделу Советского Союза и уничтожению государственности, для чего "надо добиваться единства демократических сил на всех уровнях". "Движение гомосексуалистов стало значительной частью общедемократического движения на Западе", — подсказывает ректору на соседней полосе защитник гомосексуалистов (вероятно, малолетний, поскольку основной учредитель газеты печется о детях и юношестве). Автор "Гомосексуализма и перестройки" мечтает о том времени, когда на Верховном Совете СССР будут обсуждаться проблемы однополых браков, а лидер РКП будет радостно приветствовать лидера "голубых". Ведь на Западе, утверждает Быстрицкий, коммунисты "вовсю поддерживают гомосексуалистов". Следуя "паритетной" логике, можно сделать неопровержимый вывод: раз в СССР гомосексуалистов вовсю поддерживают демократы, значит, именно признание гомосексуализма способно "породить действительно демократическое общество".

(Справка: известно, что все разнообразие сексуальной свободы происходит от психического и физической нездоровья).

Теперь расшифруем призыв Юрия Афанасьева: демократы, то есть психонаты и пидоратеники

всех уровней, объединяйтесь! Да, хороша тематика для "детей и юношества"...

Статистика утверждает, что двуполые люди — в основном люди двуличные. Не знаю, верно ли обратное. Во всяком случае, А. Собчак и Г. Попова, судя по их делам, лично я отношу к людям двуличным. А как еще совместить их борьбу за "сексуальное инакомыслие" с присутствием на торжественных христианских церемониях? Неплохо бы им освежить в памяти Библию, и в частности, такие строки из Послания Апостола Павла к Римлянам: "(25) Они променяли правду о Боге на обман и поклонились вещам рукотворным и служили им, а не творцу, вовеки благословенному. (26) И вследствие всего этого Бог оставил их во власти похотливых страстей. Женщины променяли естественные отношения с мужчинами на противоестественные сношения с женщинами. (27) Мужчины же также отказались от естественных сношений с женщинами и воспылали противоестественной страстью друг к другу. (28) И поскольку они не считали пужным признавать Бога, то он оставил их во власти их же собственных извращенных умов и предоставил им совершать все эти недостойные поступки... (29) Эти люди исполнены всяческих грехов: зла, жадности, себялюбия, ненависти, жадности к убийствам, фальши, ревности, и всегда думают о других самое плохое. Эти люди сплетничают, (30) клеветают друг на друга и ненавидят Бога. Они грубы, полны гордыни, всегда похваляются перед другими, измышляют способы чинить зло, не почитают своих родителей, дерзко ведут себя со всеми. (31) Они глупы, никогда не исполняют обещанное, никого не любят и безжалостны ко всем. (32) И хотя им известен закон Божий, гласящий, что те, кто повинен в подобном, заслуживают смерти, они не только именно так и поступают, но и одобряют, когда и другие ведут себя так же".

Так о Боге ли думают в церкви Собчак и Попова? Сдается, что о Дьяволе!

Еще в конце прошлого века сексолог, некий Магнус Хиршфельд, потребовал правового равноправия "половых актов между лицами одного пола и половых актов между лицами разного пола". Он выступил инициатором петиции, которую подписали знаменитый физик Альберт Эйнштейн и лидер социал-демократов Германии Август Бебель. Вселился бесенок и в академика А. Д. Сахарова, которого сейчас многие называют "нашей совестью". В августе 1973 года он подписал "Гуманитарный манифест", в котором есть такие строки: "В области половых отношений мы верим в то, что нетерпимость, часто культивируемая ор-

то доксалытими религиями и пуританской культурой, ширасно ограничивает рамки сексуально-го поведения".

Что имел в виду знаменитый демократ? В Библии все по полочкам разложено насчет ограничения. Ведь в курсе, паверное, был академик.

В 20-е годы профессор Питирим Сорокин написал статью "Правдивенное и умственное состояние современной России". Он подметил интересную общность, свойственную революциям: "Революция, объявляя многое претрасудком, т. е. разбивая ряд тормозов поведения, сдерживающих проявление примитивно-биологических импульсов, разбивает и те тормоза поведения, которые ограничивают свободу удовлетворения половых инстинктов. Отсюда — рост половой похоти при всех эволюциях. У нас он проявился с необычайной силой, захватив, прежде всего, молодое поколение, у которого моральные тормоза, естественно, слабее. Большая "заслуга" в этом прина слежит прежде всего партии коммунистов, энергично принявшей бороться с "мещанско-буржуазными" половыми предрассудками. Отделавшая ее члены, вплоть до лиц, занимавших очень высокие посты в Наркомате просвещения, втянулись за эту борьбу "экспериментально", путем публичного развращения институтков и гимназисток.

В полемику с профессором вступил вождь революции В. И. Ленин. Он откликнулся статьей "Освобождение от буржуазного рабства" и усмотрел в этом "целикую заслугу коммунистов". В ответ Питирим заметил: "Да, освобождение, несомненно, но чего? Половых органов, а не людей".

Сейчас перестройка — тоже революция. Однако отличие от Октября все же имеется. Как всем уже стало ясным, вместо "марксизма" надо читать "демократизм".

Все мы знаем, что ленинская концепция социализма была искажена тираном Сталиным. Пострадали советские гомосексуалисты. В 1933 году диктатор повелевал ввести в наше законодательство параграфы, запрещающие мужской гомосексуализм. "В Москве, Ленинграде, Харькове и Одессе, — повелевает "Собеседник", — начались массовые аресты гомосексуалистов". Советское искусство понесло большие потери. Но не только оно. Красная Армия также лишилась своего гомосексуального ядра, что, видимо, сказавшись на ее боеспособности. Не в этом ли причина неудач в Финской кампании? Не любил извращенцев и другой тиран — Гитлер. В 1933 году бедные немецкие лесбиянки и гомосексуалисты были от-

правлены в концентрационные лагеря. Вождь штурмовиков Эрст Рам был арестован в "Ночь длинных пожей" 30 июня 1934 года прямо в постели, где он страстно ласкал волосатые ягодички своего шофера.

Не знаю почему, но недолюбливал творческую интеллигенцию вождист Хрущев. В декабре 1962 года на выставке в Манеже наш дорогой Никита Сергеевич бросил известному скульптору Эрсту Неизвестному и его сотоварищам-авангардистам такие слова: "Педерасты несчастные!". Надо полагать, что информация к первому лицу государства поступала из компетентных источников. Правда, премьер был неоригинален. Еще один из персонажей "Похождения бравого солдата Швейка" заметил: "...только эстеты — гомосексуалисты; это вытекает из самой сущности эстетизма".

Интересно, что в феврале нынешнего года киношные эстеты — из Союза кинематографистов — всем скопом вступили в партию "Демократическая Россия".

Не знаю, реабилитировала ли армейских гомо комиссия под руководством А. П. Яковлева? Если нет, то это очевидный просчет.

Ныне в связи с новым мышлением в области военного искусства появился лозунг "ни шагу вперед" вместо прежнего "ни шагу назад". Взамен ликвидируемых ракетных, авиационных, танковых, артиллерийских частей надо создать "голубые дивизии", ориентированные только на оборону. ООН, надо полагать, принимая во внимание отсутствие валюты, окажет нам бесплатную гуманитарную военную помощь — выделит из своих фондов для наших новых армейских формирований голубые каски. Эти меры усилят столь необходимое перестройке доверие со стороны нашего потенциального противника.

"Демократизация" армии (не путать с деполитизацией) при правильном процентном формировании (50% — активных, 50% — пассивных) устраним дедовщину и конфликты на национальной почве. Ну, кто будет бить любимую жену, хоть она и мужчина, или осел, или собака? Только злодей-рецидивист или дикий ревнивец Отелло! С этим позорным явлением будут бороться пассивные гомсоветы. В полторганах голубых частей будут исключительно демократы, никаких коммунистов, даже сочувствующих их голубому движению.

Кстати, я не оригинален. Предстоящую "демократизацию" армии обсуждают и в народе Правда, на уроне анекдотов. Например, один из них. Сидят в окне "голубые", держат оборону.

Наступает противник. "У вас блинчики есть?" — кричит в мегафон "голубой" командир. "Нет", — отвечает враг. "А голубоглазые?!" — "Нет". — "Тогда беспощадный, беспощадный огонь", — тонким срывающимся голосом командует пассивный гомоофицер.

В связи с положением в Персидском заливе наши "демократы" требовали послать в Саудовскую Аравию войска для защиты американских интересов. Склонился к этому и подавший в отставку министр иностранных дел Шеварднадзе. Не поняли его. А надо было поддержать. В срочном порядке создать бы армейский мобильный ослиный корпус из демократов-скотолобов.

Выдающийся педагог по марксистской этике, крупнейший борец с туниками буржуазной идеологии и учеником реакционера Христа, один из виднейших авторов книги "Основы марксизма-ленинизма", а ныне знаменитейший сексолог (и, видимо, гинеколог и геолог) Игорь Кон сосчитал для еженедельника "Аргументы и факты" количество гомосексов, лесбиянок, педофилов, скотолобов, любогруппов и прочих сексуальных неврастеников и психопатов. Как он ухит-

рился это сделать — нам неведомо. Но он назвал цифру пазага — 10—15 миллионов. Цепляясь за оп. (Информация к размышлению в Библии: "Завано про дьявола — "имя твое негид")

Не принято кончать ироническими замечаниями на серьезной ноте. По риску. Темы эти серьезные. Разве не знают наши высокопоставленные "демократы" мнение авторитетных западных социалистов, что гомосекс — это самоубийство нации. Если "голубые" окажутся в демократическом большинстве, то общество и человечество погибнут. А теперь реалии сего нынешнего дня. Прогноз: последний год вошел в историю России как переломный, когда в ряде наших регионов показатель смертности превысил показатель рождаемости ("Сметская Россия", 26.12.90). И это в мирное время. А может, такая участь уготована нам в общепропейском доме: освободить территорию для тех, у кого твердая валюта? А то у них на Западе уже и плюнуть негде.

..И все-таки интересно: разрешит ли демократический Моссовет парад гомосексуалистов на Красной площади, и если да, кто будет принимать смотр "голубых легионов" — Гавриил Попов или его моложавый зам?

Даниил Скобцов

Три года революции и гражданской войны на Кубани*

С особым настроением прибыли делегаты Кубанской Войсковой Рады с июньского общекавказского Съезда в Петрограде, среди них П. Л. Макаренко и И. С. Коробкин.

Наказ Рады не принимать от имени Войска никаких обязательств или добросовестно выполнять, а в смысле информации они имели возможность видеть и слышать в столице многое. В Петрограде в это время заседал I-й Съезд Советов, и было все еще полно эхом Съезда крестьянских депутатов и т. д.

Всероссийский казачий Съезд состоялся 7—19 июня (ст. ст.). На нем было около 300 делегатов от 12 казачьих Войск.

О заявлениях во время Съезда кубанского делегата Петра Макаренко в "Известиях" Петроградского Совета рабочих депутатов от 7—20 июня (№ № 88, 90 и 93) было напечатано, что "катяки постановили требовать ареста Ленина и его товарищей, этих бездельников, с которыми мы можем справиться". А в заключительной части резолюции самого казачьего Съезда по политическому моменту говорилось, что "Временное правительство может опереться на казачество в борьбе с анархией..."

Но сами наши делегаты вернулись из Петрограда встревоженными.

Знаменитая фраза "семянного министра" Чернова, что "казакам-де придется потесниться — они имеют большие падеды земли", — произвела крайне отрицательное впечатление как на самих казачьих делегатов, так и по возвращении их к себе домой на слушателей их докладов.

Много говорилось об общей склоке и государственном центре и пленении власти "толпой безответственных лиц".

Для подкрепления своих заявлений Петр Макаренко ссылался на мнение видных политических деятелей, между прочим, на Г. В. Плеханова, которых ему пришлось посетить в Петрограде и которые будто бы одобрили казачьи позиции.

Веселой минутой собрания с докладами делегатов была одна, когда другой член делегации И. С. Коробкин рассказал о храбрости Ленина.

На одном из собраний Съезда Советов, где присутствовали и наши делегаты для информации, Ленин сделал заявление, меряя шагами эстраду. Коробкин описал при этом всю неказистую фигуру будущего всероссийского диктатора: "Небольшой человек с козлиной бородкой..."

И вот его спросили:

— Согласились бы вы, товарищ Ленин, взять теперь всю власть в свои руки?

— Да, взял бы, и знаю, что я стал бы делать.

Для всех нас, слушателей, перед которыми только что была нарисована общая безотрадная картина положения государственной власти, самоуверенность "человека с козлиной бородкой" показалась столь занимательной, что все дружно засмеялись. Тогда это было определенно весело. Но характерно то, что этот случай докладчик все же запомнил и считал нужным доложить Раде.

Общее настроение, созданное докладами делегации, было тягостным, правда, в глубине души все же оставалась вера в то, что авось в конце концов все образуется.

Первая сессия Кубанского Областного Совета открылась 24 июня (ст. ст.). Основной его задачей было рассмотрение вопроса о местном всеобщем земском самоуправлении.

По разработанному проекту ни Областной комитет, ни Войсковое правительство Совету не представили. В прямую задачу последнего это, впрочем, совсем и не входило. Правда, среди членов правительства ко времени открытия Областного Совета сторонников земства прибавилось, и при этом сторонников, вполне сознательно усвоивших данную мысль. Здесь оказались, кроме Скидана, еще молодой А. Ф. Лях и Д. С. Филимонов (однофамилец Войскового атамана Филимонова).

Областной же комитет заговорил сам себя, и те общие положения, на которых он в конце концов

остановился, были так далеки от жизни, что группа Ивана Макаренко, оставшейся в меньшинстве в комитете, нетрудно было сформировать свои контрпредложения, которые не лишены были определенной доли основательности.

Неприятна была та заносчивость, которой не чуждо было и инородческое руководство, и стремление поприжать казаков своей численностью.

Первая стычка сторон Совета произошла уже при выборах председателя. Казаки выставили кандидатуру Рябова, инородца — присяжного поверенного Либбермана. Первый — казак старой Динской станицы (и сыном Запорожье так назывался один из куреней); Либберман — еврей, новый человек на Кубани.

Рябов победил, но очень незначительным большинством.

В товарищи председателя прошел почти единогласно кандидат инородник, видный педагог и бывший городской голова г. Армавира, но тоже казак по происхождению М. Л. Закладный. Последнее обстоятельство нужно особо отметить. В то время некоторые инородные казаки становились на платформу инородников, кроме Закладного, например, ветирач Юшко и др. Во время этой очень непродолжительной сессии Совета не однажды выступал с прекрасными построениями речами М. А. Гроценко, тоже казак, но прошедший делегатом на общеполитический Съезд от инородных Лабинского отдела. Он высказывался за широкое привлечение к местному строительству через органы земского самоуправления всех слоев населения для укрепления с такими жертвами полученных свобод и для поддержания гражданского мира в Области. Деятельность Макаренко Гроценко охарактеризовал как мракобесие и злобную реакцию. В поддержку Макаренко выступал на заседаниях Совета горец Султан-Шахим-Гирей. Но так как он высказывался за шествие при конструировании Кубанского земства некоторых ценных ограничений, то его поддержка лишь опорочивала систему Макаренко. Так или иначе, но в первые же два-три дня заседаний хитросплетения Макаренко на "тему" о Кубанском земстве были разоблачены, а у Областного исполнительного комитета, как было ясно с самого начала, никакого конструктивного плана не оказалось. Совету, собственно, делать было нечего. Разве что самому погружаться в комиссионную работу по выработке проекта положения о Кубанском земстве.

Тут на сцену выступили новые лица, до того державшиеся в тени за спиной Макаренко. Своим они его никогда не считали, его ура-казачьих убеждений не разделяли, но не мешали развешиваться и блистать.

Эти лица — Бескровный, Ивасюк, Леницкий, кубанско-украинская "ссылка" социал-демокра-

тического направления, близкие знакомые (а некоторые и друзья) Петлюры.

Как раз к этому времени, началу июля 1917 года, на Украине был выпущен Центральной Радой II Универсал, которым оповещалось об установлении на Украине ее управляющего органа (на основах автономии) — Генерального секретариата с В. Винниченко во главе. "Ссылка" на Кубани в земстве по российскому замыслу не пугалась. Боевой командир этой группы Н. С. Рябовол в Совете занимал председательское место; при нем находились его свояк и человек, всегда готовый на всякие вторые роли, — С. Ф. Манжула.

Было устроено отдельное заседание казачьей части Совета, и тут появилось предложение о снятии совсем с повестки дня Совета вопроса о земском самоуправлении на Кубани. Такой оборот дела означал разрыв с инородческой частью Совета, тем более, что при общих прениях в Совете демагоги из того лагеря уже бросали казакам упрек в сознательном саботаже вопроса. Наша группа приняла все усилия, чтобы казаки такого предложения о земстве не делали. Прения закончились неопределенно, резолюция, угодная группе Бескровного, не была принята, но настроение, близкое к тому, у очень многих членов совещания, определилось.

После полудня началось общее заседание Совета. Ораторы с инородческой стороны с того и начали: стали развивать мысль о саботаже земства казаками. При таком обороте дел казакам из группы "ссылки" и "ура-казакам" было неудобно проводить намеченное свое решение.

А. П. Филимонов, председатель правительства, взял слово для опровержения "недостойных наветов" на Войсковое правительство. — "Оно-де (правительство) почей не знало, но трудилось на общую пользу и, в частности, прилежно занималось вопросом о введении земства на Кубани." В подтверждение своих слов для вящего обличения противника Филимонов изложил из-за верхнего отворота череском небольшую бумажку и прочел написанное на ней. Это были кратко сформулированные тезисы проекта положения о "земском самоуправлении в казачьих областях" на широком демократических началах.

Эффект получился исключительный.

Скидан, старый сторонник земства на Кубани и в то же время отлично осведомленный об истории появления за пазухой у Филимонова прочитанных им тезисов, с поспешностью попросил себе слова, в краткой речи приветствовал жест Филимонова, в результате коего передачи гласности тезисы, и выразил надежду, что после этого А. П. Филимонов вместе с другими членами правительства приложат старание и поставят на практическую ногу дело введения земства на Кубани.

Обе стороны Совета были смущены инород-

* Продолжение. Начало в № 4.

ние от общей неожиданности и явно клевещнической собственноручной роли, вынававшей на них долю, а казаки группы Бескровного и Макаренко этого, что так же неожиданно они в лице своего председателя правительства оказались ангажированы на то, чего у них и в мыслях не было.

Разряд сгустившейся атмосферы пришел откуда, откуда никто его не ожидает.

Позади председательского кресла, в дверях, идущих из соседней комнаты в зал заседания, где столпилась группа членов Войскового правительства, произошло бурное движение. Третий старик из Войскового правительства, Д. С. Иваненко, рванул к председателскому столу, а Манжула, схватив его за фалды череском, всячески старался огрести пазом.

— Я прошу слова, — и отчаянно воскликнул Иваненко и, вырвавшись из рук Манжулы, выскочил на середину.

Заявление его было кратким. (Он, оказывается, не мог стерпеть, чтобы его собственные лапы кто-то другой позависал на своем голышу). Он выпалил:

— Тезисы, прочитанные А. П. Филимоновым, я лишь на днях пришел из Петрограда, и они еще не были рассмотрены правительством!

— Ага! Попались! — поднял на весь голос известный дельцов из группы инородных — г-н Б., выскочил вперед за Иваненко на середину и произнес еще несколько недопустимых выражений в адрес Войскового правительства.

С. Ф. Манжула, поняв, что настал момент ему выступить на сцену, прокричал:

— Бр-р-р-казаки! Здесь оскорбляют нашего председателя. Нам чего тут делать...

Он сам ринулся из зала, за ним другие члены их группы, а затем и другие казаки. Заседание закончилось.

На следующий день казаки собрались в другом помещении. Идея разрыва принимала реальные формы. Но эта реальность пугала. Рядовые члены Совета, казаки, после сессии его должны были явиться домой в станицы и дать отчет о своих действиях. Там они должны были встретиться и с казаками, и со своими инородными, взаимоотношения тех и других в станице сплелись в сложный узел, на не всякий был способен рубить его мечом.

Троценко, я и другие члены нашей группы, к этому времени достаточно сдвинувшейся, еще и еще выступали с призывом не рубить, не нарушать единства предварительного органа областного населения. Моментами наш призыв как будто был доведен до сознания большинства членов Совета.

На П. С. Рябова был "ловким" председателем. Впрочем прервет пратар, кпречмя, если нужно, доведет дело до председателского кризиса, разрешающегося, конечно, для него благополучно. А киды и лн ере есны не действовали и

грозила опасность получить при голосовании не-угодное большинство, он сейчас же после речи оратора объявлял перерыв, а в перерыве проводилась обработка неискушенных в своеобразном "парламентаризме" членов собрания.

К вечеру все же пришли к решению: еще раз испробовать путь к примирению. В комиссию по выработке условий для этого избрали старейшего казака Ф. А. Щербину, Петра Макаренко и меня. Мы не замедлили выполнить сделанное поручение, и в общем заседании Совета наши условия были приняты, но Манжула или кто-то другой внес дополнительный пункт: и удовлетворение напесенного председателю правительства оскорбления потребовать от фракции инородных согласия на исключение совсем и навсегда из областного Совета г-на Б.

Двенадцатилетняя предрекционционная практика Государственной думы привила к тому, что депутатов можно исключать за разные провинности из состава представительного органа, но... на строго ограниченный срок. Тут же требовалось навсегда исключить г-на Б. Некоторые члены собрания за поздним временем, вследствие общей усталости от бесконечных и по существу малосодержательных прений, просто не осматривали целесообразности для инородных этого дополнительного условия, а оно было подчеркнуто как непеременимое.

Произошло голосование, и большинство приняло все условия, а пути с ними к инородным договариваться, соглашаться уполномочили, как я ни отказывался, опять же меня и Петра Макаренко.

Длинной речью убеждал П. Л. Макаренко инородных принять наши требования, при этом часто повторяя:

— Вещь это же Кубанское Войско оскорблено... Войско...

Моя роль свелась лишь к личным переговорам с Закладным, Либманом и другими, чтобы убеждать их в необходимости оказать все свое влияние и избежать разрыва.

Они разделяли мою точку зрения и пообещали со своей стороны сделать все возможное для принятия ее.

На другой день инородные прислали к нам делегацию, и еще раз произошел обмен делегациями. Вечером 3 июля в казачьей части Совета еще подвергли рассмотрению создавшееся положение. Мы пробовали еще приводить доводы благоразумия, но все оказалось тщетным.

В зал заседания, несмотря на поздний час, стали стекаться члены Войскового штаба, Областного правления, офицеры царейского дивизиона и пр. Стало очевидным стремление придать разрыву торжественную обстановку.

Некоторые из моих друзей и я ушли из зала.

Разрыв был объявлен во вторую половину ночи с 3 на 4 июля.

Функции Областного Совета объявлялись перешедшими к казачьей его части — Войсковому Совету.

Органом высшей исполнительной власти в Области объявлялось Войсковое правительство, которое осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с комиссаром Временного всероссийского правительства.

Одной из ближайших задач Войскового Совета и правительства объявлялось введение земского самоуправления на Кубани.

Комиссар всероссийского Временного правительства К. Л. Бартиш признал целесообразность происшедшего, а позже добился и от Временного правительства признания целесообразным изменения в управлении Облстью, чтобы "надежнее шло укрепление демократического строя".

С казаками остались представители горцев, следовательно, здесь было представительство большей половины населения Области.

...В ночь с 3 на 4 июля раскол произошел по признаку казачьей или неказачьей группировки областного населения. У представителей действующих сил не оказалось достаточной воли к сотрудничеству.

Перед нами, казаками, поучившими поручение своих станиц представлять их интересы в общеобластном представительном органе, проявившими крайней степень старания к избежанию разрыва, но оказавшимися в меньшинстве, ставился вопрос личный: как быть?

— Да, мы — казаки, нам некуда уходить от казакон.

Для нас оставался один путь, работать в родной среде, считать наиболее важным восстановление и сохранение гражданского мира, использовать все силы и возможности для укрепления истари здесь заложенных и теперь вновь обретенных идей народоправства и гражданской свободы.

Чиновники Областного правления и Войскового штаба своим актом участия в манифестации в ночь с 3 на 4 июля на стороне Войскового правительства как бы признали окончательно его своим областным начальством и т. д. Войсковому правительству дана была в руки готовый технический аппарат. Быть может, при другом составе Войскового правительства дело пошло бы на лад и процесс консолидации на революционной власти в области дал бы положительные результаты.

Но Войсковое правительство по-прежнему "заседало" и многословило.

Большой любитель комфорта, его председатель А. П. Филимонов по каким-то причинам как бы утерял волю к активности. Стихий же его товарища И. Л. Макаренко всегда было что-либо

бурное — протест, некое подобие заговора и т. п.

В каком направлении он готов был теперь направить свою бурную энергию, покажет следующий случай.

А. П. Филимонов с начальником Войскового штаба вскоре после "разрыва" выехали из Екатеринодара на Теберду, кубанскую чудесную климатическую станцию. У кормила правления остался Макаренко. В это время распоряжением Верховного командования передвинулись в каком-то новом направлении казачьи части, в пределах Области появились эшелоны 2-го Хоперского полка. Продолжалась война, и вопрос об обороне государства, казалось, должен был доминировать. Не тут-то было. И. Л. Макаренко властью председателя Войскового правительства отдал приказание о задержании эшелонов на Кубани.

Воинская часть, получившая от Верховного командования указание направления движения, должна знать причины задержки. Стрелками телеграммами-запросами от командира полка появился в правительстве и. о. начальника Войскового штаба. В ст. Гол-о его попросили пождать.

Обсуждение вопроса в правительстве происходило при непрерывно возникающих тяжелых инцидентах. Предыдущие дни все жили в большом нервном напряжении. Некоторые члены правительства из-за слез не могли закончить своих речей. Я был и этом заседании. Все жилось в эти дни, кроме местных дел, еще под тяжким впечатлением от июльского выступления большевиков в Петрограде и первых казачьих жертв, сопряжавших это выступление.

Заседание правительства длилось до полуночи. Макаренко понял, что перехватил, и исполнял своей ответственности.

Решительная телеграмма, к тому же из Петрограда, полученная в ответ на запрос кого-то из начальствующих лиц Войскового штаба, сыграла благотворную роль. Распоряжение о задержке эшелонов полка было отменено.

На другой день на соборной площади всенародно, в присутствии некоторых воинских частей, пелась панихида по павшим казакам в Петрограде 3—5 июля.

Макаренко, после всего совершенного, держал речь к войскам и народу, подчеркивал лояльность местной власти в отношении всероссийского Временного правительства и пригласил прикричать "ура" в честь "великого патриота земли Русской" А. Ф. Керенского.

В Москве в это время происходило Государственное Совещание.

Первые газеты с отчетами о Совещании пришлось прочитать на образном пути в Екатерино

дар. Оказывается, наши представители вошли в общеказачью группу и делали заявление устами А. М. Каледина.

Что казалось непонятным и странным, так это обилие стонов и пророчеств о грядущих тяжелых испытаниях и даже гибели государства.

На собрании созванном в Екатеринодаре Войскового Совета, на котором сделали доклад кубанские делегаты о московском Государственном Советании, впервые было произнесено слово "федерация" как желательная форма будущего государственного устройства России. Произнес это слово Рябовол и, как всегда, кратко, без особых подходов, раскрыл его содержание для казаков:

— Только при федеративном строе России казаки могут рассчитывать на автономию и самостоятельное распоряжение своими землями и прочими угодьями.

Общее внимание в ту пору было сдвинуто в другую сторону. Общее смущение вызвал акт Верховного Главнокомандующего. Понятие об иерархии власти и дисциплине у казачества было устойчивым, а тут вдруг требование передачи власти лицу, по общему смыслу, подчиненному. С другой стороны, и провозглашение наместником Верховного Главнокомандующего, да еще такого, как Корнилов, — все это не вязалось с общим представлением.

Но нужно отдать справедливость Войсковому правительству.

В этот момент оно выдержало позицию лояльности в отношении верховной государственной власти.

Однако все сведения, приходившие из государственного центра, свидетельствовали, что развал продолжается. На Кубани стало крепнуть убеждение, что на всякий случай нужно самим казакам организоваться. Усилилось течение в пользу скорейшего образования так называемого "Юго-Восточного Союза" с главными составными его частями — казаками Дона, Кубани и Террека, "вольными народами степей и гор Северного Кавказа", как торжественно именовались калмыки, черкесы и другие горские племена. Допускалось привлечение в Союз и казаков, территориально отдаленных от главной ячейки, то есть казаков Астраханского, Оренбургского и Уральского Войск. Мысль, как уже отмечалось выше, и цорюция, по той же причине, много говорили, но мало делали. Нигородская часть населения сейчас уже увидела и идея Союза новый этап казачьего анношора, а кубанская группа друзей Петлюры вообще отнеслась к этому делу с холодком, так как это можно ввести Кубань, через Дон, мимо Киева и мимо уже намечавшейся "цели дежбой" Украины.

Итак, начало делу было положено уже в июле. В Новочеркасске был тогда устроен по неким

державному обычаю малых образований особая конференция. Донской Большой Войсковой Круг, созванный на 5(18) сентября, благословил свое приличие "принять участие в работах конференции, созываемой в Екатеринодаре по этому вопросу", но 2-м пунктом своего постановления Войсковой Круг ставил создание Союза в зависимости от окончательного решения Всероссийского Учредительного собрания.

Организационная работа разбивалась на много громоздких этапов.

Обстановку екатеринодарской конференции Макаренко постарался создать высокостепенной и говорливой.

К тому же, на конференции не сразу приступили к разрешению своей прямой задачи. Члены ее начали высказываться по "текущему моменту", прежде всего о минимуме мятежа на Дону в "Корниловские дни."

Поведение представителей центральной власти на конференции охарактеризовали как "злобную и предательскую провокацию", а попутно с этим присовокупили, что ей (конференции) "все вселяет впечатление, что дело о мятеже ген. Корнилова может оказаться также результатом планомерного предательства и провокации борющихся за власть ответственных и безответственных лиц и организаций".

"Корнилов — сын простого казака Сибирского войска, — говорились в той же резолюции, — конференция настаивает на самой широкой гласности расследования дела ген. Корнилова со включением в комиссию (Верховную следственную) представителей казачьих Войск", "иначе казачество сделает свои самостоятельные выводы по этому делу."

Так как актом Временного правительства в начале сентября Россия была объявлена республикой (не ожидая созыва Учредительного собрания), то "юго-восточная конференция" нашла себя обязанной высказаться и по этому поводу.

Упрекнув Временное правительство в приспешении не приняв нужных ему мер, конференция тут же объявила от имени казачества (конечно, тоже без полномочия на это), что оно (казачество) мыслит Россию "единой, неделимой федеративной" республикой.

По основному же своему вопросу екатеринодарская конференция разрешилась лишь пространной и довольно нескладной декларацией, в которой были сохранены все "розовые" места как в отношении общероссийской власти, так и вообще неказачьего русского населения. Между тем, по существу, создание целевого Юго-Восточного Союза для объединения действий войсковых правительств и им подобных местных правительств, если бы такие образовались для поддержания порядка в своих областях, и доведения страны до Всероссийского Учредительного собра-

ния, — ничего однозначного ни в ту, ни в другую сторону не было, а было бы вполне своевременным. Однако местные кубанские "нигородские" стали упрекать своих казаков, что они скорее готовы объединиться с калмыками и черкесами, чем с ними, русскими людьми.

Для окончательного завершения дела — для принятия устава Союза назначена была конференция в главном городе третьего казачьего войска — Терского, в г. Владикавказе.

К концу сентября авторитет центральной государственной власти упал в глазах местных людей низко. Комиссар ее, К. Л. Бардиж, уже как бы состоял при кубанском Войсковом правительстве лишь в виде какого-то старшего советника — наблюдал, но в управление не вмешивался.

Обломки нигородней части областного Комитета (значительная часть его членов дезертировала) превратился в особый агитпункт против Войскового правительства. Оставшиеся его члены, раздражаемые недостатком средств, отпускаемых на их содержание, отзывались протестом чуть ли не на каждое постановление "уауриаторов", то есть казачьего Войскового правительства. Горючего материала в Области накопилось все больше и больше. Узловые железнодорожные станции — Армавир, Кавказская, Тихорецкая забивались "законными" и "незаконными" дезертирами, которые под разными предлогами приставали к местным запасным частям, где их прикармливали, и увеличивали мощь этих притоков неприязни к казакам.

...В Екатеринодаре собралась Войсковая Рада для окончательного урегулирования вопроса о самоуправлении и управлении. По правительственному последнему указу не удалось серьезно заняться этим. Однако накануне открытия Рады Макаренко принес на заседание правительства свой личный проект "Временных положений о высших органах власти на Кубани". Мне пришлось быть свидетелем того, как сильно оглушил он этим своим личным проектом и раньше издававшихся от него всякие виды своих сочленов по правительству. Но назавтра с подобным проектом правительству нужно было выступить перед Радой. Задержанные члены правительства принялись вносить свои поправки к проекту Макаренко. Просидев, однако, до самого утра, не сумели согласовать все поправки с основным текстом и решили направить проект с поправками к нему в готовую образоваться в Раде комиссию по самоуправлению как "материал для работы". Комиссия по самоуправлению снова стала центральной, но теперь у ее членов была уже некоторая практика в работе.

Первым и бесспорным стал у комиссии вопрос о восстановлении должности Войскового атамана, главы Войска. По какому размеру прав на де-

лать его — это вызвало много споров Группы Макаренко и Бескровного — "ура-казаки" и "спилка", или, как теперь для краткости их называли, просто "черноморцы", высказывались за сильную атаманскую власть. Наша "линейская" группа была против сильной атаманской власти. Мы на своем настояли. Рада решила, что атаман должен избираться Большой Войсковой Радой, но он должен оставаться только высшим представителем и высшим военным начальником. Но указы его без контрассигнования председателя правительства или члена правительства, ведомства которого приказ касается, не имели силы. Председателя правительства должна избирать (малая) Законодательная Рада, она уже утверждала затем других членов правительства из кандидатов, представленных ей председателем правительства. Атаман только после сформирования правительства подписывал совместно с председателем приказ о назначении правительства.

Другой спорный вопрос был о полиправных гражданах. Черноморцы настаивали, чтобы признать таковыми только казаков, линейцы — всех насельников Области, живших в ней до начала великой войны; принято было большинством считать полноправными, кроме казаков, также и живших в городах до войны их постоянных насельников, а из сельского населения тех, которые расплачивались земельными участками в Области на правах общинного или частного владения и земельными товариществами.

В связи с этим расширением круга равноправных граждан было принято именовать Кубанскую область Кубанским краем, Войсковое правительство — Краевым правительством и самое Войсковую Радю — Краевой Радой.

Нужно сказать, что крестьянские общества на предложение включиться в число равноправных краевых граждан ответили не сразу и не все: в данный момент состоять в "казаках" перестало быть заманчивым.

Вопрос о компетенции краевых органов в их взаимоотношениях с органами общегосударственными был, пожалуй, на этой Раде самым боевым, спорным и горячим, в итоге Рада приняла формулу автономного управления краем с комиссаром Временного правительства при нем в качестве наблюдателя и передаточной инстанции между центральной и краевой властями, — по существу, принималась уже установившаяся к этому времени практика последних дней. К тому же Рада приняла теперь лишь "Временные положения" об управлении краем, будучи убежденной, что соберется Всероссийское Учредительное собрание и высказается об окончательном государственном строе в России, и тогда все может быть пересмотрено. Что Рада в это время стояла на позиции единства России, свидетельствует, между прочим, то, с каким единством она от-

ислась к вопросу о скорейшем созыве Учредительного собрания. На последнем своем собрании она наметила и свой список кандидатов в Учредительное собрание.

Краевой Раде предстояло выбрать Войскового атамана и членов Законодательной Рады. Последние были избраны на собраниях членов Рады от семи отделов, но атамана предстояло выбрать закрытой баллотировкой шарами в общем заседании Рады.

Было намечено два главных кандидата: К. Л. Бардиж и А. П. Филимонов. Перед баллотировкой кандидатуры подверглись обсуждению. За кандидатуру Бардижа первым высказался Н. С. Рябовол и затем другие члены украинской ориентации. Таким образом, он являлся как бы их партийным кандидатом, что, пожалуй, и послужило причиной его провала, а Филимонов восторжествовал, хотя горячих сторонников у него почти и не было.

11 октября был вновь избран, таким образом, первый Кубанский атаман после многих десятилетий отмены этой доброй казачьей традиции. Рада устроила в его честь особое торжественное собрание, выслушала его вступительное слово. На площади войскового собора, после торжественного молебствия, ему был вручен атаманская булава, которую держал некогда в своих руках выборный атаман, как последний его предшественник З. А. Чепига. По древнему запорожскому обычаю старейший член Рады (Ф. А. Щербина) посыпал голову избранника, как это было в Запорожской Сечи, дорожной пылью; в знак единства все члены Рады сфотографировались одной группой с Войсковым атаманом в центре — так хотелось продемонстрировать это единство. Но к концу сессии Рады было весьма относительное единство. Обострение групповых отношений между членами Рады временами достигало большого напряжения. Однажды дело дошло до того, что члены Рады линейских отделов — Лабинского, Майкопского и Баталпаинского — собрались отдельно и воздерживались идти на общее собрание. Перед оставшимися в Зимнем театре встал призрак возможного раскола Войска. В конечном итоге все обернулось лишь демонстрацией, но многих она заставила задуматься. А общая обстановка в государстве Российском становилась тогда все более грозной.

Открытие вновь избранной Законодательной Рады было назначено на начало ноября, когда она должна была составить новое краевое правительство. До того времени оставалось прежнее Войсковое правительство, то есть А. П. Филимонов, Макаренко И. Л. и пр.

25 октября. Известие о перевороте в центре, как ни странно, не произвело в Екатеринодаре ошеломляющего впечатления. Рассуждали: нарыв прорвался, ход событий приведет к благополучному разрешению кризиса. Большевиков прогонят, придут более энергичные, чем были до сих пор, люди и направят государственный корабль на надлежащий путь.

Ни у кого не возникало мысли о допустимости лояльных отношений с Советским правительством, но об организации борьбы не было разговора. Войсковое правительство доживало свои последние дни, чтобы заместиться уже Краевым правительством.

Пришел ноябрь. Собралась Законодательная Рада. Сначала, не спеша, сама сконструировалась, составив коалиционный президиум: Рябовол (черноморец) — председатель, Рябцев (линеец) — секретарь, Султан-Шахим-Гирей (горец) — товарищ председателя.

Затем Рада занялась составлением правительства.

Рябовол и его близкие выдвинули на пост председателя нового человека — Быча Л. Л. Знание его разъяснили: человек с законченным высшим образованием, большой стаж общественной работы, бывший голова города Баку, главноуполномоченный по продовольствию Кавказского фронта, политически принадлежит к умеренной социалстической группировке плехановцев, а главное, человек уже почтенного возраста, чего нам всем не доставало.

Оспаривать у Быча председательское кресло стал не кто другой, как Иван Леонтьевич Макаренко, и сам же выступил за себя с агитационной речью, — как всегда, говорил длинно и малосвязно: о тяжелых переживаниях края, о тоске в положении государства Российского, о том, что испытания еще впереди, что власть должна находиться в руках людей дальновидных и преданных общественному служению, что такие люди не имеют права уклоняться от ответственных поручений, а потому и он, Макаренко, не может уклоняться от службы краю. Его, конечно, провалили с треском. Быча выбрали хорошим большинством. Быч — черноморец, в противовес ему мы провели в члены правительства по народному просвещению Ф. С. Сушкова — линейца.

На коалиционных основаниях составилось новое правительство. Исполнять обязанности члена правительства по внутренним делам стал бывший комиссар Временного правительства К. Л. Бардиж, по делам юстиции — престарелый видный кавказский судебный деятель Паша-бек Султанов, очень милый старик. Членом прави-

тельства по военным делам избрали по рекомендации фронтовиков-казачков Кавказского фронта полковника генерального штаба П. М. Успенского, очень долго не имевшего возможности прибыть с фронта из Персии на Кубань.

Коллегиальный войсковой контроль генерал был упразднен.

Была учреждена должность единоличного краевого контролера, независимого от краевого правительства, но с правом участия в заседаниях правительства с решающим голосом. Контролером избрали меня. Макаренко и молодого Бардижа избрали членами правительства от Кубани и Юго-Восточный Союз.

Атаман Донского Войска всенародно объявил (28 октября) о принятии на себя прерогатив государственной власти в Области, сделав, таким образом, вывод из непризнания образованного в центре государства Советского.

Этот Советский Союз не был признан и на Кубани. Но лишенный по конституции какой-либо самостоятельности атаман Филимонов избежал выступить с подобным заявлением; не сочло возможным для себя делать подобное заявление и краевое правительство. Таким образом, вынужденные фактически приступить к работе по типу полной самостоятельности вечногосударства Кубанского краевое правительство и контроля по существу не имели на это легального титула.

Но вопрос заключался не только в легитимности. Доведенные известия из центра о петроградском и московском опыте утверждения новой власти посредством пушек и пулеметов никаких иллюзий уже не оставляли. Пужно было, следовательно, и самим думать об организации неизбежной борьбы.

И вот в стремлении добыть себе легальный титул, получить определенный мандат на борьбу краевое правительство почти непосредственно за своим образованием решило вновь созвать краевую Раду, лишь месяц тому назад распущенную.

Размер бедствия, которое накатилось на край, был теперь уже стихийного значения. Лавиной шел поток демобилизующихся воинов кавказского фронта, забивал железнодорожные станции и располагался по селам, городкам и станицам. Среди даже своих иногородних казаков начало становилось раздражением, а жажда реванша со стороны горячих голов группы "иногородних" толкала их искать поддержки вне казачьих большевистских сил. Именно в этот момент вышло от какой-то части иногородних обращение к 39-й дивизии Кавказского фронта с просьбой поддержать на Кубани иногородних против казаков.

Для организации так называемых казачьих заслонов, о которых так много кричали все лето и осень, ничего не было сделано правительством Макаренко. Казачьи части, начавшие приходить последними с демобилизующегося фронта, отказывались организовать эти заслоны. Дела на свое дело всеобщая усталость от войны. Кроме того, фронтовики заявляли:

— На фронте мы с солдатами делились последним сухарем, — как же теперь мы будем с ними воевать?

Это был суровый приговор нашим ура-казакам, но их участь теперь должно было разделить все казачество.

Казаки-фронтовики усвоили себе такую практику. С фронта они приходили своими частями и с оружием. В Екатеринодаре в Войсковом штабе им производили полный расчет за недополученное содержание по различным частям военного обихода, и затем с индивидуальным оружием они расселялись по станицам и хуторам. А там через какой-то промежуток времени организованно вооруженные большевистские группы под угрозой расстрела заставляли их сдавать и индигуальное оружие.

Председатель Л. Л. Быч скоро, видимо, понял, какую большую ошибку сделали его предшественники, так неосторожно обращавшиеся с принципом внутреннего гражданского мира в крае. Сам Быч уже принял в свое правительство неказака Ф. С. Леонтьева, бывшего городского голову г. Новороссийска. Быч попробовал привлечь еще одного иногороднего в правительство — доктор Долгополова, но этот, поставив свое согласие войти в правительство в зависимость от согласия на это своих однопартийцев-эсеров, потом отклонил предложение. Попытка бесшумно перелицеваться частично и общий казачь-иногородний цвет не удалась. Значит, нужно особо договариваться.

Законодательная Рада избрала для переговоров с иногородними комиссию, в которую были посланы: К. Л. Бардиж, Д. А. Филимонов (очуфамилец атамана) и я, от горцев — Султан-Шахим-Гирей.

В Екатеринодаре как раз это время проходило Съезд иногородних, созданный для установления отношений иногородних к октябрьским постановлениям краевой Рады. Уже приглашение на Съезд сопровождалось упреками по адресу Рады, что она, "несмотря на пожелание Войскового Совета вести на Кубани бессловесное земство, даже не нашла нужным рассмотреть проект такого земства", а "самостоятельно провозгласила федерацию" с управлением "на представительство лишь коренного населения", и т. д. Бардижу и мне было

поручено переговорить с деятелями Съезда о желательности присылки уполномоченных от Съезда в нашу комиссию. На Съезде инородных тогда уже фигурировала своя большевистская фракция, пока в небольшом числе, она будоражила Съезд, но порождала зато желание у благоразумной части Съезда поскорее изжить распри с казаками. Поэтому наша с Бардижем миссия вполне удалась, и от Съезда были присланы в нашу комиссию Гурутин, доктор И. П. Покровский и рабочий Морозов. Я был избран председателем комиссии, успеху ее дела много способствовал К. Л. Бардиж.

Комиссией были выработаны следующие основные соглашения:

I. Население Кубани, предшествовавшее все-российским Учредительным собраниям основных законов для государства Российского, создает органы местного самоуправления и управления как в пределах края, так и в пределах организующегося Юга-Востока России — самостоятели по.

II. Безотлагательно создаются бессословные органы местного самоуправления на демократических началах, по с односторонним цензом оседлости и для приобретения активного избирательного права.

III. До введения постоянного положения о самоуправлении состав станичной администрации и станичных сборов обновляется привлечением в них представителей от инородного населения на пропорциональных началах, но не больше половины общего состава.

Однако для большинства Законодательной Рады односторонний ценз оседлости оказался неприемлемым, и она отказалась утвердить положения нашей комиссии.

Возражения против короткого ценза оседлости мотивировались в Раде тем, что на Кубань в годы войны, ввиду особо льготных условий мобилизации здесь казацкого населения, прибыло много полуделегальных дезертиров, которые, будучи ничем не связанными с краем, могут оказаться нежелательным бременем при организации краевого самоуправления. Большинство Рады предлагало трехгодичный ценз оседлости, но инородные его не приняли, и мы, казаки и комиссия, попросили отложить окончательное решение о цензе до доклада нами этого вопроса Краевой Раде, созываемой на начало декабря.

Краевая Рада собралась. Обстановка на ней обнаружилась другая, чем была в октябрьско-ноябрьскую сессию. Обыкновенно на ней члены ее составляли семь фракций по числу семи отделов (административных единиц края) и плюс к ним

восьмая — горская (национальная) фракция. А в этой же Раде образовалась еще девятая фракция — энергичная, шумливая — фракция фронтовиков, руководящим ядром которых обнаружилась группа уполномоченных казачьих частей на один из прифронтовых съездов и принятая здесь на Раде как представительница молодого фронтового казачества. В качестве лидера ее оказался молодой, энергичный (таким он тогда казался) полковник Роговец.

Эти фронтовики определенно высказывались за установление добрых отношений с инородными. Мотив тот же: "На фронте с солдатами мы делились последним сухарем", — была их общая реплика. Но они шли дальше: в их критике краевых учреждений слышались нотки из "Окошней правды". В возмущение им их спрашивали:

— С какими солдатами вы делились сухарем? Не с теми ли, что пошли за Лениным и Троцким?!

На это следовал уклончивый ответ:

— Со всей России поспать все равно не будешь... Сил не хватит.

— Но с кем вся Россия? Ленин и Троцкий ее мнения не спрашивали... Запархали ли вся Россия? Или она с теми, кто хочет упрочения в нем народного, демократического строя?..

Споры, сомнения, колебания двух сторон сталкивались, перешептывались в Раде и заводили в тупики.

Отцы и дети в течение нескольких дней не могли установить общего языка.

Тогда отцы — Войсковой атаман, Краевое правительство и краевой контролер — занялись в Раде о сложении своих полномочий ввиду явной оппозиции фронтовиков и в то же время неясности их требований.

— Только берите власть из наших рук и идите, кулачки, а не бросайте ее на ветер большевистской диктатуры, — гонялось фронтовикам.

В большой тревоге прошел объявленный перерыв и занятия Рады.

Позади скамей и пустошней части просторного центрального зала, где происходили заседания Рады, собрались фронтовики на фракционное совещание.

Через час, а может быть, и больше они всей гурьбой направились к эстраде, и когда по их требованию председатель открыл собрание, полковник Роговец произнес с большим подъемом речь, в которой говорил о любви фронтовой молодежи к казачеству, о любви к родному краю и к России, о готовности фронтовиков на дальнейшие жертвы и, наконец, о том, что отцы неправильно поняли детей и... дети просят атамана и

других носителей власти взять обратно свой отказ.

Прервав речь, Роговец повернулся к фронтовикам и затянул тогда еще мало известную на Кубани песню, созданную казаками именно на Кавказском фронте:

— Ты, Кубань, ты наша Родина,
Вековой наш богатырь!..

Широкая гармония песни, воодушевление, с каким пели ее фронтовики, захватили всех. По морщинам многих стариков — отцов — текли слезы...

Внутренний кризис среди собравшихся в Раде "отцов и детей", таким образом, разрешился.

Среди волнений и бурь в Кубанской Раде пришло известие о гибели Терского атамана Караулова при прохождении по Ростово-Владикавказской железной дороге эшелонов 39-й дивизии. Она шла в полном вооружении и готовностью выполнять решения 2-го Съезда солдат Кавказского фронта в казачьи области для "борьбы с контрреволюцией" атаманов Каледина и Филимонова. При дивизии — революционный комитет с заданием устанавливать советский строй...

В это время в самом Екатеринодаре на Сенном базаре был убит казачий офицер.

По приказу Краевого правительства был обездорожен артиллерийский дивизион — сосредоточение и надежда местных большевиков. Большевистская фракция на Съезде инородных подняла было вопрос о насилии над "борцами революции".

Я был в этот момент на этом заседании Съезда в качестве уполномоченного Рады для переговоров о соглашении. Сохранилась в памяти отвратительная сцена неподражаемого двуличия вожака большевистской фракции на съезде Полуяна, выступившего с предложением протестовать против разоружения артиллеристов. Визгливым голосом Полуян требовал "отмщения за поруганную свободу и за пролитую кровь".

Председатель собрания пранорщик Прокофьев, явно не выдержав лицемерия, резко прервал оратора:

— Товарищ Полуян, посмотрите на свои руки!.. Они у вас в крови!

Полуян в действительности посмотрел на свои руки. Многолюдное собрание, исключая небольшую кучку друзей Полуяна, шумно одобрило возглас председателя Прокофьева, а Полуян побитой собакой сбежал с кафедры.

По основному вопросу о направлении деятельности краевой власти Рада единодушно приняла идею борьбы с большевизмом и большевиками. В

этом направлении были даны радой указания и полномочия Краевому правительству.

Было утверждено положение о соглашении с инородными на началах паритетного представительства в Раде: 46 казачьих представителей и 46 неказачьих и 8 горцев в Законодательной Раде; в правительстве тоже равное число: 5 казаков и 5 другой группы с сохранением также от национальной группы горцев одного представителя. Войсковым атаманом и председателем правительства должен быть непременно казак. Срок оседлости в крае для приобретения полноты гражданских прав определен был в два года. Эти общие решения принимались на совместных общих собраниях Рады и Съезда инородных с 13 по 21 декабря.

20 декабря Краевая Рада утвердила политическую программу Кубанского казачества и горцев и, таким образом, формулировала цели борьбы.

Программа разбивалась на обычные отделы таких документов: об основных правах граждан, о государственном устройстве, о местном самоуправлении, аграрном и рабочем вопросах, финансах, просвещении.

Местной особенностью было подробно разрабатывать положение о военной службе казаков.

В основном по этой программе наиболее совершенной формой бытия российского государства признавалась (как и раньше) Российская Демократическая Федеративная Республика как "единое государство" из "крепко спаянных между собою "федерирующихся областей", Кубанский край один из "равноправных ее штатов".

Воинская повинность должна быть всеобщей, равной и обязательной для всего мужского населения Российской республики и основана на принципах "национальном и территориальном". "Казаки отбывают службу в казачьих частях, с казачьим составом офицеров и сведенных в чисто казачьи бригады, дивизии и корпуса, и должны отбывать службу на собственной территории", находясь в подчинении у своих Войсковых атаманов. На них ни в коем случае не возлагается "полицейская служба", "лишь при исключительных обстоятельствах, грозящих существованию или спокойствию государства", казачьи части "совместно с другими войсками Российской Армии" могут быть привлечены для службы, "но не иначе, как с разрешения своего Войскового правительства".

В аграрной части этой программы значилось: "Все земли Российской Республики должны быть бесплатно переданы трудовому населению".

Исходя же из федеративного принципа и древнеказачьей "обыкновенности", "все земли Ку-

банского Войска, леса, рыболовные водички... и прочие уголки со всеми неграми, как историческое достояние Кубанского Войска, составляют неотъемлемую собственность Кубанского Войска" и оно распоряжается ими "самостоятельно и независимо"

Рабочий вопрос излагался в обычной формулировке рабочих партий, как и остальные обычные программные вопросы.

По труду было казачьей программе тягаться с большевистскими посулами.

В их воззваниях к качеству были собраны все крайние пожелания, о которых могли бы только подумать казаки, все льготы по военной службе, бесплатная передача лошадей и пр. Все казачье руководство объявлялось поперечным сословным влияниям. Приходилось астрономические цифры о собственных землях у Каледина, Финмонова, Быча и др.

Декабрьская Рада закончила свои работы накануне Рождества. В другое время можно было бы признать очень значительными результаты ее работы. Но мрачная обстановка крайней действительности снижала значительность этой работы. О некоторых частях ее (и о некоторых деятелях, производящих ее теперь) приходилось пожалеть — почему бы не сделать всего этого раньше. Насколько результаты были бы куда выше!

Перед снятками были спиртные бутылки в таких неспокойных местах, как хутор Романовский. На казенных складах за время сухого режима и перед войной накопилось много неиспользованного

спирта, содержимого в огромных бассейнах. Сюда устремились толпы своеобразной солдатии и подполков уличной. Были случаи, когда пьяные толпы в спирте. Несосторожное обращение с огнем вызвало пожар. Погибло многомиллионное государственное достояние и были человеческие жертвы.

Состояние почти всех населенных пунктов городского типа требовало для поддержания порядка особой воинской силы, по ее-то как раз и не было.

Начал заявлять о себе район станции Гулькевичи, где сказывалась близость организующего большевистского центра и Армавира и куда уже достигли части упомянутой 39-й дивизии.

В Екатеринодаре сколачивание стойких воинских частей не налаживалось. Удручающей пылостью отличался назначенный командующим войсками генерал Ч-й.

Между екатеринодарским правительственным центром и отдельными населенными пунктами образовались как бы провалы с неведомо как организованной общественно-политической жизнью. В лучшем случае можно было допустить для этих провалов наличие нейтральности к краевой власти, чаще это было начало образования враждебного очага.

Агентурным путем стало известно, что местные екатеринодарские большевики готовы использовать благоприятную обстановку и на Рождественских снятках открыто выступить в самом Екатеринодаре.

Продолжение следует

Семен Франк

КРУШЕНИЕ КУМИРОВ*

3. КУМИР КУЛЬТУРЫ

Кумир "революции" и кумир "политики вообще" рухнули в нашей душе преимущественно под впечатлением опыта русской революции. Но есть еще другой кумир, в каком-то смысле родственный им и с ними связанный, который тоже потерпел крушение или по крайней мере пошатнулся под влиянием, главным образом, иного опыта — опыта, так сказать, всеевропейского — под впечатлением мировой войны и послевоенного духовно-общественного состояния мира. Этот кумир мы назовем несколько неопределенным именем "кумира культуры". Прежде чем систематически анализировать, в чем он заключался, и обосновать характер его крушения, постараемся и здесь непритязательно и правдиво воспроизвести наш непосредственный духовный опыт.

В довоенное время, в то столь недавнее и столь далекое уже от нас время, которое кажется теперь каким-то невозвратным золотым веком, все мы верили в "культуру" и в культурное развитие человечества. Нет надобности здесь давать логически точное определение этого, довольно туманного, идеала: достаточно конкретно очертить духовную настроенность, выражавшуюся в вере в него. Нам казалось, что в мире царит "прогресс", постепенное и непрерывное нравственное и умственное совершенствование человечества, неразрывно связанное с таким же совершенствованием его материальной и правовой жизни. Мы восхищались культурой Европы и скорбели о культурной отсталости России. В Европе мы во всем усматривали признаки "культуры". Конечно, мы не закрывали глаз и на темные стороны европейской жизни — мы замечали в ней и эгоизм, и мелочность, и мешанину пошлости, и ограниченность, и обилие "буржуазных предрассудков", и жестокость репрессий в отношении нарушителей буржуазного права и морали, и слепой и хищнический национализм. Но в большинстве случаев нам казалось, что эти темные стороны

суть еще непреодоленные остатки прошлого, которые сами собой постепенно будут устранены дальнейшим развитием культуры; в этом смысле большинство русских и сочувствовало европейским социалистам, как самой передовой партии, которая борется с остатками "феодалных" нравов и стремится к устранению несправды и ограниченности буржуазного строя. Во всяком случае, основной фундамент культуры и мирной гражданственности казался неизбежно заложенным в Европе, и мы мечтали, что Россия скоро войдет как равноправный член в мирную, духовно и материально благоустроенную семью культурных народов Европы. Варварская эпоха смут, международных и гражданских войн, нищеты и беспорядка казалась, во всяком случае, отошедшей в безвозвратное прошлое, окричательно преодоленной гуманным развитием нового времени.

Поэтому, когда разразилась великая европейская война, она оказалась для большинства русских образованных людей совершенной неожиданностью, так что еще за несколько дней до ее начала, когда все ее симптомы были уже налицо, почти никто не верил в ее возможность. Когда она стала уже совершившимся фактом, она еще продолжала казаться каким-то великим недоразумением, какой-то несчастной случайностью, результатом преступной воли кучки милитаристически настроенных правителей Германии. Никто еще не мог поверить в длительность, жестокость и разрушительный характер этой войны; она казалась не естественным результатом и выражением духовно-общественного состояния Европы и не великим историческим событием, знаменующим новую эпоху, а случайным эпизодом, болезненным, но кратким перерывом нормального культурного развития.

Когда война затянулась на годы и обнаружила и чудовищность своих опустошений, и жестокость своих средств, и отчаянное, смертельное упорство воюющих сторон, отношение к ней стало понемногу меняться; тогда каждой из воюющих сторон — в том числе и нам, русским, — стало казаться, что вернуться к нормальной культурной жизни можно только, уничтожив врага,

*Продолжение. Начало в № 3, 4.

окончательно устранив самый источник войны. Война была объявлена последней войной, направленной на прекращение всяких войн, на окончательное установление мирных и честных демократически-правовых начал и в отношениях между народами. Когда разразилась русская революция — столь желанная для большинства русских с точки зрения их идеала внутренней политики — и за ней последовало массовое дезертирство и самовольная ликвидация войны, большинство русских снова с патриотической горечью ощутило, что Россия еще не досрочно до гражданской зрелости Европы, что она сама себя вычеркнула из состава европейских государств, борющихся за свое существование и свою культуру. Большевизм и анархия казались зловещим уделом одной только отсталой России, которая, в отличие от Европы, никак не может наладить своей жизни.

И тут неожиданно грянула германская революция, и многие сразу же, хотя и смутно, почувствовали, что — при всем различии и шедшего, и внутреннего положения России и Германии — их постигла какая-то общая судьба, что мировая война завершается какой-то мировой смутой. Потом последовал Версальский мир, показавший, что правда и справедливость в международных отношениях — пустые слова и что все зло войны, прекратившейся на полях биты, зафиксировано на неопределенно долгое время мирным договором, что взаимная ненависть, озлобление, страх перед врагом, беспощадная эксплуатация слабых есть нормальное, естественное состояние европейской международной жизни; и то же обнаружилось в своекорыстном и лицемерном отношении бывших союзников к русскому несчастью. А затем стало очевидным, что в этой войне вообще нет победителей, что общечеловеческая бойня, истребившая миллионы людей и разорившая всех, кроме отдельных хищников и мародеров, кончилась безрезультатно, не искуплена ничьим счастьем и успехом. Все державы, хоть и не в одинаковой мере, истощены и ослаблены, все подавлены и внутренними раздорами и неупорядоченностью внешних отношений; большинство победителей не знают, что делать с своей победой, и стараются — тщетно — сами загладить ее печальные последствия; другие в ослеплении губят сами себя и становятся предметом общей ненависти своим желанием во что бы то ни стало добить побежденных. Во внутренней политике на очередь дня становится злобно-бессмысленные политические убийства — по большей части честных людей, отдающих себе отчет в ужасе положения и старающихся найти выход из него. В частной хозяйственной жизни господствует всеобщий упадок трудолюбия и производительности труда, жажда легкой наживы, спекуляция на народном бедствии; пресловутая немалая чест-

ность и деловитость, казалось, глубоко укорененные многовековым культурным развитием, сметены вихрем, точно внешние одеяния, не имеющие никакой собственной опоры в личности. И несчастная, растерзанная коммунистическими экспериментами, угнетаемая большевистским деспотизмом Россия оказывается не слабейшей и не беднейшей из европейских стран; посетители европейской культуры, проповедники права и свободы заигрывают с людьми, возглавляющими пестящую в Европе систему, презрительную определенную как «азиатский социализм», и идут на соглашение с ними ради материальных выгод или ради умиротворения своих собственных народных масс, в значительной мере симпатизирующих этому азиатскому социализму. Если русским коммунистам и не удалось перебросить в Европу зажженный ими «мировой пожар», то нельзя отрицать, что и Европа падает и тлеет и не может затухнуть это подземное горение; и кто знает, не испыхнет еще в том или ином ее месте этот подземный пожар ярким пламенем анархии и гражданской войны?

И среди этого всеобщего смятения и маразма как мало признаков духовного осмысления жизни и стремления к подлинному духовному возрождению! Когда теперь мы, русские, материально и духовно обнищавшие, все потерявшие в жизни, ищем поучения и осмысления у вождей европейской мысли, у которых большинство из нас раньше лишь учились, мы, заранее склонные к смирению, всегда чуждые национального самонадеяния и менее всего способные на него в эту несчастную для нас эпоху, с изумлением узнаем, что, собственно, учиться нам не у кого и не чему и что даже, наученные более горьким опытом наших несчастий, иная до конца чаша страданий, мы, пожалуй, сами можем научить кое-чему полному человечество. Мы по крайней мере уже тем определили его, что у нас меньше осталось иллюзий и призрачных верований. Мы чувствуем себя среди европейцев, как Сократ среди своих соотечественников, у которых он хотел чему-нибудь научиться, пока не признал, что он — мудрее всех, потому что он, ничего не зная, по крайней мере, отдает себе отчет в своем неведении, тогда как все остальные, ничего не зная, не знают даже своей собственной духовной нищеты!

Мы изображали резкими, схематическими интригами процесс падения веры в европейскую культуру, подчеркивая отдельные сильные толчки, исходившие от крупных внешних событий и один за другим расшатывавшие эту веру. В действительности, конечно, процесс этот гораздо сложнее; он совершался более постепенно и не приметно, будучи результатом накопления множества разнородных и сильных, и бесконечно малых впечатлений. И эти впечатления были только поводами для него, как все глубокие духовные и жиз-

ненные перемены, он осуществлялся спонтанно, шел из каких-то невидимых глубин души и в точности психологически необъясним. Что-то умерло в нашей душе; бывший жар, бывшие восторги испарились, и мы с трудом вспоминаем о них; мы состарились и духовно охладели и сами не знаем, как это случилось. Мы идем по красивым, удобным, благоустроенным улицам европейских столиц, которыми мы прежде восторгались, и не понимаем, что в них хорошего: рошная чистота асфальта, однообразные высокие дома пошлой архитектуры; гуляют и мчатся автомобили, развоза праздных жуиров, жадных спекулянтов или озабоченных, духовно пустых «деловых людей»; внутри домов — десятки и сотни одинаковых квартир мещанского уклада, в которых копятся разбитый на семейные ячейки людской муравейник — чему тут радоваться? Тоска, тоска беспросветная! Мы видим кучера или шофера, читающего газету на своем сиденье, в какой восторг перед его просвещенностью и политической сознательностью мы приходили раньше при том зрелище! Теперь мы равнодушно проходим мимо, а если живем в Германии, то злобно думаем: «наверно, тоже играет на бирже», и уверены, что теперь мы оцениваем это явление правильнее, чем прежде. Где трепет, с которым мы когда-то всходили на галереи европейских парламентов и прислушивались к страстным, вдохновенным речам политических ораторов? Едва ли мы читаем внимательно эти речи и в газетах, а если и пробежим глазами, то с равнодушием и скукой; мы заранее знаем их содержание: либо безответственная демагогия, либо официально-лицемерное провозглашение каких-либо священных принципов, в которые никто не верит и которые никогда не осуществляются, оправдание какого-нибудь зла под тем или иным высоким предлогом, либо, наконец, сознание своего бессилия и безвыходности положения; от всей текущей политики на нас уже заранее веет или человеческой глупостью, или человеческой подлостью, или тем и другим вместе — и во всяком случае — пошлостью, унынием, безнадежностью серых будней. Где благородные, бесстрашные, горящие верой в добро и человечность вожди передовой демократии и социализма, изблещенные злом, апогоны социальной правды, защитники угнетенных — или они только казались нам такими? Если такие и были когда-то, то они или умерли, или выродились. Когда европейские коммунисты громят теперь в своих речах и статьях лицемерие и неправду буржуазного общества, то по крайней мере нас, русских, они уже теперь не проведут: сколько бы объективной правды ни было в их словах, мы-то знаем, к чему они клонят и каков их подлинный умысел; в этих мнимых апостолах правды и добра мы с полной, абсолютной ясностью видим бесстыдных или в лучшем случае обманливых

служителей сатаны, духа насилия и убийств, лжи и пранкшего разложения, циничного произвола и животной тупости. А умеренные социалисты или вожди демократии — все эти Клемансо, Ллойд-Джорджи, Вандервельде, Вишнани, Шейдеманы и как их всех зовут — и правительствующие, и оппозиционные? У них ничего не осталось, кроме пустых лозунгов, в которые никто не верит, в том числе и они сами. Если они стоят у власти, то они прикрывают шумом громких слов какие-нибудь злые или глупые дела, или в лучшем случае свою бездейственность и свое бессилие; если они — в оппозиции, то в ней нет ничего принципиального, ясного, идейного. И все они только убавкивают народные массы теми словами — пыле пустыми и лицемерными — словами, которыми они когда-то старались разжечь политические страсти, боясь признаться, что в этих словах нет уже больше никакого осмысленного содержания и вдохновляющей идеи. Лучшее, что они способны сделать, — это удерживать европейское общество в его состоянии неустойчивого равновесия и не дать ему совсем опрокинуться, применять паллиативные средства, чтобы духовное и общественное разложение не шло слишком быстро и чтобы тление не превратилось в пожар. Социалистическая вера духовно умерла, частью разоблаченная несдыханным злом коммунизма, частью обесценившаяся и потонувшая в болоте буржуазной обидчивости и пошлости. А демократические идеалы? Может быть, их еще можно или даже нужно признавать отвлеченно, может быть, политическая мысль не подумалась ни до чего лучшего, но верить в них и поклоняться им уже больше невозможно. Просвещенная демократическая Европа, после веков культурного развития дошедшая до безумной всеевропейской бойни, священные принципы Вильсоновских «пунктов» — и Версальский мир, ими оправданный, всеобщее избирательное право — и глупость, бездарность и бессилие парламентов и правительств, из них исходящих, и многие другие аналогичные контрасты, — все это испытания, которых не выдерживает живая вера.

Нас радует больше и прогресс науки, и связанное с ним развитие техники. Путешествия по воздуху, этот птичий полет, о котором человечество мечтало веками, стали уже почти будничным, обычным способом передвижения. Но для чего это нужно, если не знаешь, куда и зачем лететь, если на всем свете царят та же скука, безысходная духовная слабость и бессодержательность? А когда подумаешь, что единственным реальным результатом этого развития воздушных сообщений является возможность превратить войну в быстрое и беспощадное убийство населения целых стран, в кошмарно-апокалипсическое истребление европейского человечества одним с неба, то трудно духовно увлечься его успехами и разве

только в припадке безумного отчаяния можно злорадно уемехнуться сатанинской мечте о самоутверждении погибшей Европы. Общее развитие промышленной техники, накопление богатства, усовершенствование внешних условий жизни — все это вещи испокон веку, конечно, нужные, но и нет ли во всем этом какой-то безнадежности работы над сизифовым камнем, раз неудержимое влечение к промышленно-торговому развитию привело через войну ко всеобщему разорению и обнищанию? Возможна ли сейчас та юная, наивная вера, с которой работали над накоплением богатства и развитием производства целые поколения людей, видевшие в этом средство к достижению какой-то радости, последней цели? И нужно ли, в самом деле, для человеческого счастья это безграничное накопление, это превращение человека в раба вещей, машин, телефонов и всяческих иных мертвых средств его собственной деятельности? У нас нет ответа на эти вопросы; но у нас есть сомнения и недоверие, которых мы прежде не знали.

А духовные ценности европейской культуры, чистые и самоовладевающие блага искусства, науки и нравственной жизни? Но и на все это мы испокон веку смотрим теперь иными скептическим взором. О нравственной жизни мы не будем здесь говорить — это особая и особенно тяжкая тема, о ней речь впереди. Здесь достаточно сказать, что мы как-то за это время утратили веру именно в самое отличие нравственной жизни, нравственных установ культурного человечества; все это имело и оказалось неизмеримо более шатким, двусмысленным, призрачным, чем оно казалось ранее. В искусстве самое великое мы видим в прошлом, современное же — не будем произносить никаких приговоров ей, претендующих на объективность и обоснованность, — но в ней нет художественного движения, способного захватить и окрылить нас, скрасить тоску нашей будничной жизни и давать нам радостные слезы умиления перед истинной вечной красотой. А вместе с тем после пережитых испытаний произошел какой-то душевный сдвиг, в силу которого для нас потускнело многое из прошлого. Всякая лирика и романтика в живописи, поэзии и музыке, всякая субъективная утонченность, экзальтированность, изысканность и идеалистическая туманность, в которых еще так недавно мы находили утеху, не только не радует, но раздражает нас и претит нам: мы ищем — и не находим — чего-то простого, существующего, бесспорного и в искусстве, какого-то хита настоящего, по которому мы духовно изголодались. А наука? Но и наука перестала для нас быть кумиром. Толстые ученые книги, плоды изумительного прилежания и безграничной осведомленности, всякие научные школы и методы не внушают прежнего почтения и как-то испуганы нам теперь. Яснее прежнего мы видим, сколько

ограниченности, бездарности, рутинерства, словесных попятных, лишених реального содержания, скрыто в этом накопленном запасе книжного знания и как мало, в конце концов, в большинстве “научных” произведений свежей мысли, ясных и глубоких прозрений. И иногда кажется, что вся так называемая “наука”, к которой мы также раньше относились с благоговением неопитов и ученическим рвением, есть только искусственный способ дрессировки бездарностей, что настоящие умные и живые мыслители всегда выходят за пределы “научности”, дают нам духовную пищу именно потому, что ничего не изучают и никак не рассуждают, а видят что-то новое и важное, и что этому не может научить никакая наука, — или же, что в этом и состоит единственная подлинная наука, которой еще так мало в том, что слышит под именем науки.

Все эти мысли и оценки суть не разработанные, обоснованные теории и объективные приговоры о состоянии современной европейской жизни. Кто из нас может быть беспристрастным судьей этого смутного времени, которое само перестало понимать себя? Те, кто накопившееся в душе раздражение против всего зла современной европейской жизни или презрение к ее убожеству и смутности, а также естественно нарастающее в душе изгнанников мучительно-острое чувство любви к несчастной родине и веру в ее будущее превращают в стройную и систематическую теорию гибели европейской культуры и нарождения новой, русской, “евразийской” культуры. — не могут рассчитывать на общее признание, на исцеление нас новой, вдохновляющей и убедительной верой. Мы склонны видеть в этой теории не объективное суждение нашего безвременья, а скорее его болезненный результат; душа наша не может жить той узостью, тем обилием ненависти и презрения, тем горделивым осуждением чужого и превознесением себя самих, которыми веет от этой теории и в которых она видит исход из кризиса. Нет, наши мысли и оценки мы выдаем лишь за то, что они есть на самом деле, — за выражение наших непосредственных чувств, за реальный факт нашей духовной жизни. Но в качестве такого факта — это мы знаем и утверждаем с полной достоверностью — они — не случайность, определены не поверхностным настроением, не индивидуальным капризом; они глубоко укоренены в нашей душе, в душе преобладающего большинства мыслящих русских людей, отложившихся в ней в результате какого-то огромного, стихийного, неотменимого и непоправимого геологического переворота духа.

Если мы попытаемся теперь систематизировать эти впечатления и оценки и хоть до некоторой степени подвести им объективный, обоснованный итог, то мы можем выразить его, как мне кажется, в двух основных положениях.

Вот — и в первых, мы потеряли веру в “прогресс” и считаем прогресс понятием ложным, туманным и произвольным. Человечество вообще, и европейское человечество в частности, вовсе не беспрерывно совершенствуется, не идет неуклонно по какому-то рошному и прямому пути к осуществлению добра и правды. Напротив, оно блуждает без предугазанного пути, подымаясь на высоты и снова падая с них и бездны, и каждая эпоха живет какой-то верой, ложностью или односторонностью которой потом изобличается. И в частности, тот переход от “средневековья” к нашему времени, то “новое время”, которое тянется уже несколько веков и которое раньше представлялось в особой мере бесспорным совершенствованием человечества, освобождением его от интеллектуальной и общедуховной тьмы и узости прошлого, расширением внешнего и внутреннего круга его жизни, увеличением его могущества, освобождением личности, накоплением не только материальных, но и духовных богатств и ценностей, повышением нравственного уровня его жизни, — это “новое время” изобличено теперь в нашей сознании как эпоха, которая через ряд внешних блестящих успехов завела человечество к какой-то тупице и совершила в его душе какое-то непоправимое опустошение и ожесточение. И в результате этого яркого и импонирующего развития культуры, просвещения, свободы и права человечество пришло на наших глазах к состоянию нового варварства.

“Прогресс” не существует. Нет такого заранее предугазанного пути, по которому бы шло человечество и который достаточно было бы объективно констатировать, научно познать, чтобы уже тем самым цель и смысл своей собственной жизни. Чтобы знать, для чего жить и куда идти, каждому нужно и какой-то совсем иной инстанции, в глубине своего собственного духа, найти себе абсолютную опору; нужно указать некий своего пути не на земле, где плывешь в безграничном океане, по которому бессмысленно швигутся волны и сталкивают разные течения, — нужно искать, на свой страх и ответственность, путеводной звезды в каких-то духовных небесах и идти к ним неслучайно от всяких течений и, может быть, вопреки им.

Это — первое. И с этим тесно связаны и второй объективный итог нашего духовного развития, который есть лишь другая сторона первого. Старое, логически смутное, но психологически целостное и единое понятие “культуры” как общего комплекса достижений человечества, то как будто стройное, согласованное и неразрывное целое, в состав которого входили и наука, и искусство, и нравственная жизнь, умственное образование и жизненное воспитание, творчество гениев и средний духовный уровень народных масс, правовые отношения и государственные порядки, хозяйство и техника, — это минувшее целое разло-

жилось на наших глазах, и нам уяснилось его сложность, противоречивость и несогласованность. Мы поняли, что нельзя говорить о какой-то единой культуре и преклоняться перед ней, радуясь под ней одинаково и творчество Данте и Шекспира, и количество потребляемого мяса или рас пространенность крахмальных воротничков, подвиги чествования и усовершенствование орудий человекоубийства, силу творческой мысли и удобное устройство вытерклозетов, внутреннюю духовную мощь человечества и мощь его динамомашины и радиостанции. Мысли, когда-то намеченные нашими славянофилами и ныне повторенные Инженлером, о различии между “культурой” и “цивилизацией”, между духовным творчеством и накоплением внешнего могущества и мертвых орудий и средств внешнего устройства жизни отвечают какой-то основной правде, ныне нами усмотренной, как бы сложной и спорной было теоретическое выражение этих мыслей. Так же ясно усмотрели мы различие и даже противоположность между глубиной и интенсивностью самой духовной жизни, с одной стороны, и экстенсивной распространенностью ее внешних результатов и плодов — с другой, между истинной просвещенностью и блеском внешней образованности, между внутренними нравственными основами жизни и официально воздвигаемыми догмами или внешне нормированными правовыми и политическими отношениями, между культурой духа и культурой тела. Мы замечаем часто ослабление духовной активности при господстве лихорадочно-интенсивной хозяйственной, технической, политической деятельности, внутреннюю пустоту и нищету среди царства материального богатства и обилия внешних интересов, отсутствие подлинной осмысленности жизни при строгой рациональности ее внешнего устройства и высоким уровнем умственного развития.

Мы видим духовное варварство народов утонченной умственной культуры, черствую жестокость при господстве гуманитарных принципов, душевную грязь и порочность при внешней чистоте и благоприятности, внутреннее бессилие внешнего могущества. От туманного, расплывчатого и неясного, противоречивого и призрачного понятия культуры мы возвращаемся к более конкретному, простому понятию жизни и ее вечных духовных нужд и потребностей. “Культура” есть производное отложение, осадок духовной жизни человечества, и смотря по тому, чего мы ищем и что мы ценим в этой жизни, те или иные плоды или достижения жизни мы будем называть культурными ценностями. Но и здесь, следовательно, у нас нет более осязаемого, внешне данного и бросающегося в глаза, общепонятного критерия уровня жизни. Жизнь есть противоборство разнородных начал, и мы должны знать, что в ней хорошо и что — дурно, что — ценно и что — не-

чтожно. Если мы найдем истинное добро, истинную задачу и смысл жизни и научимся их осуществлять, мы тем самым будем соучаствовать в творчестве истинной культуры. Но никоим образом мы не можем формировать наш идеал, нашу веру, озираясь на то, что уже признало в качестве культуры, и приспособляясь к нему.

В этом смысле и вера в "культуру" умерла в нашей душе, и все старые, прежде бесспорные ценности, причислявшиеся к ее составу, подлежат еще по меньшей мере пересмотру и проверке. Обаяние кумира культуры померкло в нашей душе так же, как обаяние кумира революции и кумира политики. Во всей извне окружающей нас общественной и человеческой жизни мы не находим больше опорных точек, не находим твердой почвы, на которую мы можем с доверием опереться. Мы висим в воздухе среди какой-то пустоты или средн тумана, в котором мы не можем разобраться, отличить зыбкое колышание стихий, грозящих утопить нас, от твердого берега, на котором мы могли бы найти приют. Мы должны искать мужество в себе самих.

4. КУМИР "ИДЕИ" И "НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛИЗМА"

Описанные выше разочарования были преимущественно результатом общественного опыта, катастрофических событий последнего десятилетия; и они выражаются в крушении общественных верований — кумиров "революции", "политики", "культуры и прогресса". Но когда мы глубже всматриваемся в самих себя, то мы с удивлением убеждаемся, что общий итог этого крушения совпадает с итогом какого-то внутреннего-морального, личного духовного переворота, совершившегося в человеческой душе за последнее время, подготовлявшегося уже давно и совершенно независимо от каких-либо общественных событий. И вместе с тем мы замечаем, что все, в чем мы признались, еще лишь поверхностно, далеко не полно и недостаточно глубоко выражает всю значительность и радикальность происшедшей в нас духовной катастрофы. Эту катастрофу мы можем обозначить как крушение кумира "идеи" или "нравственного идеализма"; это есть основной перелом в общем моральном устроении — перелом, в отношении которого все предыдущее было как бы только некоторой прелюдией, вступительным описанием его внешних поводов и симптомов.

Современный человек, лишенный религиозной веры, жил до сих пор ее суррогатом в лице того, что он называл "идеями" или "принципами". "Идея" была либо представлением какой-либо внешней и отдаленной цели, какой-то подлежащей осуществлению задачи, которой человек посвящал всю свою жизнь, либо нравственными

нормами и правилами, которым человек подчинял всю свою жизнь. У кого были такие "идеи", тех мы называли людьми "идейными", "принципиальными"; мы почитали их и старались сами стать такими же. Противоположный сорт людей назывался людьми "безыдейными" и "беспринципными"; это были современные, светские грешники и падшие. Человек оценивался не только по его непосредственной доброкачественности, талантливости, доброте и благожелательству, сколько по идейной убежденности и преданности своей "идее".

Основная мысль этого морального устроения заключалась в том, что человек тогда живет нормально и осмысленно, когда он служит, приносит всю свою жизнь в жертву какому-то определенному, отвлеченно постигнутому и выраженному началу. Тогда это начало есть добро и смысл человеческой жизни. Как указало, либо человек должен служить осуществлению какой-либо объективной задачи: он должен "посвятить себя" государству, воплощению определенного политического идеала, развитию народного образования, поднятию материального уровня народной жизни или какому-либо иному "идеалу"; либо же — и это есть обязательный для всех минимум требования — он должен во имя общего блага или непосредственной святости некоторых принципов — ограничить свою свободу неукоснительным соблюдением определенных норм поведения, нравственных правил, регулирующих его отношение к людям. Под "идеями", "принципами" или, еще иначе, "нравственными идеалами" разумелось одинаково и вера в определенные, подлежащие постепенному осуществлению, будущие состояния человеческой жизни, и вера в определенные порядки и правила, имеющие абсолютное значение и требующие постоянного соблюдения. В большинстве случаев человек должен был брать на себя бремя двойного служения: он должен был отдавать свои силы, свое внимание и интересы осуществлению своего "идеала" общественного, государственного, культурного и т. п. порядка, и он должен был строгойшим подчинять себя дисциплине установленного, вечно действующего нравственного устава жизни.

При всей разнородности этих двух смыслов понятия "идеала", "идеи" или "принципа", морально-психологическое действие их на человеческую душу было одно и то же, и нам нет поэтому надобности рассматривать их в отделимости. Выше, в предыдущих размышлениях, мы отметили крушение ряда отдельных "идеалов" в первом смысле слова; общий итог этих размышлений легко вводит нас на мысль, что, после всех происшедших потрясений общественной жизни и общественных верований, вряд ли мы еще фактически в состоянии теперь неколебимо уверовать в какой-либо "идеал" в этом смысле. Но совершенно

но независимо от этого фактического нашего бессилия и, однако, как бы обосновывая и тем усугубляя его, и нашей душе нарастают принципиально неверие и притом, как во всякие вообще "идеалы", в смысле объективных целей, которые мы обязаны осуществлять, так и в нравственные и идеалы, в смысле норм и правил поведения, которым мы должны беспрекословно подчиняться, как неиррациональным сдвигам. Это не значит, что душа наша жаждет безразличного разгула, разнузданности, произвола, безмерной и бесформенной свободы: если такие пожелания и перевелются иногда в ней, то это — только переходные душевные состояния, ненормальность и неудовлетворенность, которых мы хорошо сознаем. Напротив, в господствующем нашем духовном настроении преобладает с почти болезненной силой жажда чему-то отдать свою жизнь и через это самоотречение осмыслить ее и найти последнюю прочность и спокойствие. И тем не менее мы не можем отдать ее никакому "идеалу", никаким "принципам". Эта форма обоснования и упорядочения нравственной жизни нас больше не удовлетворяет. Мы ощущаем и не свободное жертвенное служение живому Богу, а бессмысленные, изумительные человеческие жертвоприношения людям, в которых мы не верим, чернота и призрачность которых мы ясно ощущаем. Мы вынуждены признать в крушении главного, основного кумира современного человечества, кумира "нравственного идеализма", безразличную моралью долга, и отдавать себе отчет в смысле и основании этого крушения. Как и почему оно совершилось — это трудно объяснить, да и этого нет надобности. Нужно только ясно осознать, в чем оно, собственно, заключается и до какого духовного состояния мы дошли в его результате.

Общий смысл его состоит в том, что мы уже не верим и "добро" как отвлеченное, самоудовлетворяющее начало, несущее свою святость и свое верховное пламя над душами и самим собой, и различие в ряде отдельных норм и требований, обязательных для человека. Выражаясь традиционным философским термином, мы не верим в "моральный категорический императив". Это неверие можно обосновать с разных сторон.

Первое, что мы ощущаем, как нечто ненормальное во всех отвлеченных нравственных идеалах и нормах, есть та холодная и беспощадная иррациональность, с которой они властвуют над нашей душой. Я обязан их исполнить, я не вправе отступать от них, хочу ли я того или не хочу, и чего бы мне ни стоило их выполнение. Правда, со времени Канта, нам указывают на абсолютный, т. е. бесспорный характер этих норм и на их внутреннее решение, т. е. свободное признание личности, и отличие от норм юридических, диктованных государством, которые являются на первый взгляд и сиюминутным давлением, а не внутренней своей авторитетностью.

Но уже Кант должен был признать, что собственно свободно, в каком личном признании, подлинно "автономно" эти нормы приемлет и ставит над собой лишь высшее начало человеческой личности, "трансцендентальное я", тогда как эмпирически человек обязан просто и беспрекословно им повиноваться. А если мы от этой отвлеченной теории перейдем к непосредственной практике, к живому душевному и духовному опыту человека, то мы ясно сознаем, что это признание на абсолютную, непрекращаемую бесспорность и не внутреннюю, а не только внешнюю авторитетность, — признание, с которым действительно выступают нравственные требования, не смягчает, а, напротив, усугубляет их пластичность, беспощадность, тиранию их господства над нашей душой. Ибо и действительно никто из нас, живых мятущихся людей, одержимых и добрыми, и злыми страстями, разнородными и разнородными порывами, и сложными сомнениями, не владеет тем строгим, чистым, непоколебимым и незабываемым, безрешным и безошибочным высшим разумом, который, согласно теории Канта и ходячим моральным учениям, должен свободно и с полной внутренней убедительностью стоять над нами этот незабываемый нравственный закон. С точки зрения живого психологического опыта это высшее и строго разумное я есть просто мысль, которой не соответствует никакая действительность. И хотя бы не только в отвлеченной философской теории, но и в практике нравственной жизни люди призрачно симулировали это высшее и строго разумное я, и потому требуют и от нас беспрекословного признания его авторитета — здесь, где мы решимся правдиво осведать и осмыслить наш духовный опыт, мы должны, как мальчик в андерсеновском сказке, открыто сказать, что "король гол" и что мы лишены удовольствия звать это "чисто трансцендентальное я" и потому и не можем свободно поклоняться ему и его предписаниям.

Что же это значит? Отрицаем ли мы наивно совесть у человека, силу и власть, которую он указывает на человеческой жизни? В нашу задачу — и за эту непреклонную истину духовной реальности — не может входить никакое доктринерское отрицание реальных фактов. Совесть, эта "амазас сердечных утисжений", внутренний старт перед самим собой, от которого иногда стонет человек, презрение к самому себе, мучительная тоска по просветлению и самоочищению, безыдейная жажда исправить непоправимое, сгореть на прощанье содеянным грехом — все это факты, и факты слишком значительные, чтобы их можно было отрицать или не замечать. Но здесь, не вдаваясь в более глубокое рассмотрение этих фактов, мы отмечаем лишь существенное отличие этих внутренних, глубоко личных, познанных мораль-

ных кризисов от того как бы официального, общеобязательного, основанного на строгих, неизменных, общепризнанных нормах морали, суда "нравственного разума", который угнетает нашу духовную жизнь и подлинная осмысленность и авторитетность которого нам сомнительна. Если под "совестью" — как это обычно бывает — разуметь наше внутреннее подчинение этому суду и этой власти, то недалеко от правды будет Шопенгауэр, сказавший где-то, что то, что называют голосом совести, на 90% есть просто страх общественного порицания, рабская трусость перед мнением других.

И действительно, там, где над нами властвуют эти отвлеченные, общеобязательные, холодно-разумные нравственные "идеалы" и "принципы", мы ощущаем себя давленными, плешиками, подъяремными рабами. Поскольку мы еще не свыклись до конца с этим рабским состоянием, поскольку мы еще сохранили — по крайней мере наедине с собой — свободную правдивость духа, в нас невольно накинута протест против этих оков. Нарождаются недопустимый, еретический и глупый для большинства людей, но неотвязный детски наивный вопрос: почему вообще я обязан что-либо делать, к чему у меня нет влечения? Почему вообще я, живущий в мире один только раз, подлинно незаменимой жажды жизни и самообнаружения, должен жертвовать собой чему-то или кому-то, ограничивать и стеснять себя? Почему я должен быть добрым, должен любить людей, если я их ненавижу, почему и во имя чего я должен ломать и переделывать самого себя, быть не тем, что я есть на самом деле? И наконец, если бы я даже пытался в угоду так называемым нравственным идеалам ломать себя, то я бы и действительно не сумел этого сделать: я не могу быть добродетельным и строго принципиальным человеком, если я на самом деле рожден грешным, страстным, раздираемым противоречивыми желаниями, мятущимся существом; я могу разве только казаться добродетельным. Так неужели же в этом — задача морали? Или, может быть, так дело и обстоит, и все люди хотят только казаться добродетельными и поглубже прятать от суда морали свою подлинную живую природу, свое внутреннее необузданно-свободное существо?

И невольно вспоминаются дерзновенные протесты, новые и старые, против ига морали. Вспоминается Штирнер с его анархическим культом самодержавного я, вспоминается глумление Ницше над "моралью рабов" и его аристократический идеал внутренне-благородной, духовно-свободной личности, которая знает свою высшую ценность и имеет право на нее, не признавая над собою ничьего суда и закона. Вспоминается еще древнее, приводимое Платоном, рассуждение свободомыслящего грека (Калликла в диалоге "Горгий"), что человек рождается с слышимой при-

родой, но попадает в руки воспитателей, которые, из корыстной и трусливой потребности своего самосохранения, прививают ему идеи и чувства овцы, кротость, покорность и миролюбие; но когда такой дрессированный левенок подрастет, он рано или поздно разорвет связывающие его путы и явится во всем своем грозном природном величии, во всей силе своей нерушимой свободы; или логичное, тоже сохранившее Платоном, рассуждение (ритора Тразимаха в I-ой книге "Государства"), что мораль, идея служения ближним, есть сказка старых нянек, с помощью которых умные владельцы усыляют и одурачивают ребячливых людей, чтобы тем свободнее властвовать над ними в своих интересах. Пусть такой аморализм не во всем прав, пусть он увлекает нас на опасные и гибельные пути, пусть он искусственно упрощает сложность человеческой природы и слишком грубо отождествляет драгоценный духовный дар человеческой свободы с простой звериной разнузданностью, с одним лишь безмерным простором страстей и вожделений; все же перед лицом холодной, тираннической и внутренне непонятной нам морали долга он содержит для нас какую-то неизъяснимую, соблазняющую правду, какой-то прельщающий или призыв к духовной свободе.

Сколько жертв было принесено на алтарь революционного или "прогрессивного" общественного мнения! Сколько талантов погибало или по крайней мере подвергалось жесточайшим преследованиям, настоящему беспощадному моральному бойкоту за нарушение "категорического императива" "прогрессивного" общественного мнения. Едва ли можно найти хоть одного подлинно даровитого, самобытного, инновационного русского писателя или мыслителя, который не подвергнулся бы этому моральному бойкоту, не претерпел бы от него гонений, презрения и глумлений. Анатоль Григорьев и Достоевский, Лесков и Константин Леонтьев — вот первые, приходящие в голову самые крупные имена гениев или по крайней мере настоящих вдохновенных национальных писателей, трагичных, если не затравленных, моральным судом прогрессивного общества. Другим же, мало известным жертвам этого суда — нет числа.

Мы склонны с презрением или в лучшем случае с улыбкой снисходительной иронии вспоминать этот бедный деспотизм общественного мнения. Напрасно. Ибо в нем ничего не изменилось, кроме содержания и названия кумиров, которым приносят эти человеческие жертвы. С тем же фарисейским самодовольством, с тем же жестоким и холодным невниманием к живой человеческой личности травят в настоящее время людей, живая душа которых не может утешиться в трафареты "контрреволюционного" общественного долга. И опять идет проповедь общественного

геронима как священного и потому морально прилюдительного долга всякой личности, вне которой ей нет приращения. И опять роковым образом на одного подлинно воодушевленного и свободного героя, влекомого на подвиг внутренней любовью и приращением, приходится десятки жертв, юнших бичом морального общественного мнения.

Быть может, нас упрекут, что мы допустили непонятливыми подмен понятий, наша тема была — власть "идей" и "моральных идеалов", а мы говорим о давлении общественного порицания, о гнете людского мнения. Нравственный идеал, скажут нам, есть то, что личность признает сама, но что она подлинно внутренне не верит; нравственный идеал, согласно приведенному уже разъяснению Канта, всегда "автономен", власть же общественного мнения — "гетерономна". Но в том-то и дело, что это различие, теоретически так отчетливо устанавливаемое, в практике душевной жизни не только стирается, и почти всегда совершенно отсутствует. И поскольку речь идет именно о нравственных нормах, выражаемых в рациональных, для всех людей и случаев жизни одинаково обязательных понятиях, и ищем мы, кроме своего собственного авторитета не обоснованных, — мы именно и утверждаем, что живая личность, пообещавшему, внутреннему, подлинно свободному отношению своему к ним, их не признает, а лишь по нужде подчиняется им, как низшие вынужденному вышнему. Подлинная конкретная нравственная жизнь — и личное погребение человека, не только жизни, но и высшие духовные, от которых он не может отречься, и жизненная обетация, живые отношения к людям — все это так сложно, индивидуально, что нравственная правда здесь всегда может быть лишь конкретной и не укладываться ни в какие общие принципы, нормы и идеи.

Есть еще одна сторона дела, которая изобличает перед нами выманивающую ложь, внутреннюю нечестность в обычной структуре морального нормирования жизни. Всякий моральный принцип или идеал, в чем бы он ни выражался, если только он выражен отвлеченно-рационально, заключает в себе исключение некоего частного случая содержания жизни или интереса и достоинство верховного владыки и распорядителя тем бесконечным целым, которое дано в жизни человеческой жизни. Объявляясь ли нам наша обязанность служить народу или государству, или сохранять верность семье, или какая-нибудь иная обязанность в качестве высшего и абсолютного долга — всюду безмерная полнота нашего духа искусственно ограничивается, сжимается в узкие, строго очерченные рамки, бесконечно вталкивается в некое прокрустово ложе. Мы хорошо понимаем, конечно, необходимость какого-то по-

нятия личности, без которого нам грозит расплыться в хаосе, потерять руководящую нить в жизни; но мы ищем этого формирования изнутри, из цельной природы нашего духа, из глубины нашего личного, неповторимо-своеобразного приращения. Втискивание же нашей личности в какую-то частную, заранее, без внимания к ее своеобразию, заготовленную форму мы неизбежно ощущаем как насилие и калечение, которому мы не хотим подчиниться, более того — которому мы не можем подчиниться, даже если бы того хотели. Ибо мы сознаем наш дух, во всей его полноте и цельности, как нечто абсолютно ценное, что мы не вправе отдавать в рабство, и чем мы и фактически не можем распоряжаться, потому что его истинно-самобытное существо сильнее всех наших сознательных умыслов. И даже в самых стилизованных, отчасти даже в пороковых влечениях наших мы ощущаем, быть может, шизинные, требующие очищения и просветления, но все же подлинные обнаружения этой превосходящей нас разум внутренней самобытности нашего существа.

Поэтому роковым, неизбежным последствием отвлеченно морального нормирования жизни является моральное лицемерие. Жизнь распадается на две части — официальную и подлинную, истинную.

Можно искалечить человеческий дух, можно внешне властвовать над ним; но внутренне поработить его нельзя, даже если его носитель сознательно согласится на это. И потому моральные принципы и отвлеченные моральные идеалы не нормируют духовной жизни; они нормируют только ее внешние проявления, но бо́льшую часть ценною внутреннего морального ее искажения, загромождения, заключения ее в душевную и отравляющую здоровье податливую тюрьму. Кто раз отдал себе в этом отчет — а какие-то, нам самим непопулярные, духовные токи современности наводят нас на это, как будто вынуждают нас раскрыть глаза и смело видеть правду — тот уже не может больше поклоняться кумиру "идей" и "нравственного идеализма".

И наконец — последнее. В умонастроении, подчиненном "моральному идеализму", служению "идеям" и "принципам", действует роковая диалектика, в силу которой все, что претендует на очевидный доброту и нравственный начертания и устремления, становится для нас своим реальным осуществлением. Привнесенный идеал, спускаясь со своих туманных отвлеченных высот на землю, шедший в жизнь и реально действующий в сложных, всегда несовершенных и противоречивых условиях человеческого бытия и конкретной человеческой природы, обнаруживает себя неожиданно не как просветляющую, познающую, обыгрывающую жизнь силу, а именно как силу разрушающую и угнетающую. Мы уже

отметили это и размышления о кумире революции и кумире политического идеала. Здесь мы можем это распространить на всякий вообще "идеал", т. е. на всякий выраженный и какон-либо отвлеченной формуле образцы, которому должна быть подчинена жизнь и согласно которому она должна быть переделана. Правдивый идеализм всегда шлопне прав и своем бытии шлопне пороков и несовершенств существующего; и он привлекает к себе сердца своим мученичеством во имя высших начал, своею преданностью мечте о добре, подлежащем осуществлению. Но когда его провозвестники из роли мечтателей, обличителей и борцов за правду переходят и роль осуществителей этой правды, реальных распорядителей и властителей жизни, они возбуждают ненависть своей тиранией, превращаясь к конкретно сложным нуждам жизни, к многообразно человеческих потребностей и слабости человеческой природы. Чем пылнее их вера и определенный идеал, чем более незыблем авторитет этого идеала, тем более сурово и жестоко они калечат и разрушают жизнь. Ибо ненависть к злу превращается и ненависть ко всей жизни жизни, которую не удается втиснуть в рамки "идеала". Тогда-то обычно обнаруживается, что, как ни совершенна реальная жизнь, стихийно сыглагоющаяся из несовершенных, слабых, порочных человеческих стремлений, она имеет уже то огромное, безмерное преимущество перед всяким отвлеченным идеалом жизни, что она как-то уже фактически сложилась, органически выросла, приспособилась к реальной человеческой природе и ее выражает, идеал же есть только то, что должно быть, что не реално и не осуществлено, но что не имеет реальных корней в самой жизни и ради чего реальная жизнь разрушается и калечится. Чтобы вернуться к первой, исходной точке наших размышлений, к самому сущному внешнему шечтлению, под влиянием которого совершается наш шпенный моральный кризис: в чем, собственно, лежит последний источник столь потрясающе явно обнаружившегося зла социализма? В том, конечно, что социализм есть крайняя степень морально общественного рационализма, мечта о подчинении всей жизни без изъятия, включая сюда шже всю сферу телесных нужд человека и их хозяйственного удовлетворения, строгим общим, отвлеченно выраженным, единообразным принципам моральной справедливости. Социализм ведь о р и н ц и п а л ь н о совершенно прав: человек, даже если он никого сознательно не обижает, никому не причиняет умнищенного вреда, даже если он только предается мирной обработке своего участка земли или труду в своей мастерской и столь же мирно обменивает потом произведенное на шные, нуж-

ные ему предметы, повинен в существующем зле и неправде, ответствен за шщету и голод своих ближних; он повинен уже потому, что думает только о своих нуждах, а не о нужде ближнего и об объективной справедливости; и конечно, стихийное сто шновение слепых эгоистических вожделений далеко не всегда и не во всем обеспечивает — как это думали либеральные оптимисты — осуществление социальной гармонии и общего счастья. Но когда социализм поэтому предписывает человеку подчинить свою хозяйственную жизнь строгим принципам социальной справедливости, радеть не о себе, а об общем благе, когда он пытается оковать жизнь этими суровыми принципами справедливости, грешное человеческое существо, понуждаемое быть подвижником идеи, превращается в зверя, вообще не способного к труду, а способного лишь к хищническому истреблению всякой жизни. И тогда выясняется, что, как ни верна сама по себе моральная идея, она ложна и губительна уже тем, что есть только идея, только отвлеченный "постулат", а не живая творческая сила и что поэтому, при столкновении ее с жизнью, она не обогащает ее, а обедняет и разрушает.

Но такова же судьба всякой вообще идеи, всякого отвлеченного идеализма: разница может быть лишь в степени их губительности, но не в самом характере их вредности; и степень эта определяется степенью логической оформленности, отвлеченной точности и потому антиреальности идеи. И в этом смысле можно сказать, что есть только один идеал, который еще хуже материалистического социализма: это — последовательно "идеалистический" социализм, кратчайшая мечта насажения на земле, с помощью отвлеченных принципов морали, совершенного общества святых, — идеал всяких толстошеч и им подобных сектантов. Ибо такое общество, если бы оно могло быть осуществлено, было бы осуществлением законченного зла, порождаемого ханжеством, изуверством, лицемерием, жестокостью и правительственной тупостью.

Такова роковая судьба идеализма. Его святые и подвизники неизбежно становятся фарисеями, его герои становятся извергами, насильниками и палачами. Нет, пусть мы, шпенные люди, безнадёжно слабы, грешны, бредим без пути и цели — правдивым "идеализмом", служением отвлеченной "идее" нас больше соблазнить невозможно

Окончание следует

СИОНСКИЕ ПРОТОКОЛЫ*

ПРОТОКОЛ № 14-й

Религия будущего. Будущее крепостное право. Недоступность познания тонких истин будущего. Порнография и будущее печатного слова.

Когда мы повторимся, нам нежелательно будет существование другой религии, кроме нашей о едином Боге**, с которой наша судьба связана нашим избранничеством и которым та же наша судьба объединена с судьбами мира. Поэтому мы должны разрушить всякие атеизмы. Если от этого родятся современные атеисты, то, как перекрестная ступень, это не помешает нашим идеям, а послужит примером для тех поколений, которые будут слушать проповеди нашей о религии Моисея***, приведшей своей стойкой и обдуманной системой к покорению нам всех народов. В этом мы подчеркиваем и мистическую ее правду, на которой, скажем мы, основывается вся ее воспитательная сила... Тогда при каждом случае мы будем сравнивать наше благое правление с прошлым. Благодеяния покоя, хотя и вынужденного веками подлеший, послужат к новому рельефу сказанного благи. Ошибки еврейских администраторов будут описываться нами в самых ярких красках. Мы посеем такое к ним широкое, что народы предпочтут покой в крепостном состоянии правам пресловутой свободы, сто на их измучившим, истощившим самые источники человеческого существования, которые эксплуатировались толькою проходившем, не педальшим, что творят. Беспомощные перемены правления, к которым мы подбивали евреев, когда поджигали их государственные здания, до шого навлекаят к тому времени народы, что они предпочтут терпеть от нас все, лишь бы не рисковать пережить пережитые волнения и бедошды. Мы же особенно будем подчеркивать исторические ошибки еврейских правлений, столько веков промучивших человечество отсутствием шобразности во всем, что касается истинного его благи, и погоней за фантастическими проектами

социальных благ, не замечая, что эти проекты все более ухудшались, а не улучшали положение шес общих отношений, на которых основывается человеческая жизнь.

Вся сила наших принципов и мероприятий будет заключена в том, что они шыставляются и штолкуются как яркий контраст разложившимся старым порядкам общественного строя.

Наши философы будут убеждать шес не ю статки еврейских первошпий, но никто никогда не станет обсуждать нашу веру в ее истинной точности зрения, так как ее никто основательно не узнает, кроме наших, которые никогда не позволят выдать ее тайны**.

В странах, называемых передовыми, мы создали беззаконную, грязную, отвратительную литературу**. Еще некоторое время шес не возмущения шпенного во власти мы станем поощрять ее существование, чтобы она рельефнее обрисовала контраст речей, программ, которые раздаются с высот наших. Наши ученые люди, воспитанные для руководства голами, будут составлять речи, проекты, записки, статьи, которыми мы будем шпенять на их умы, направляя их к намеченным нам понятиям и знаниям

ПРОТОКОЛ № 15-й

Однодневный мировой переворот. Калит. Будущая участь госа-масона. Мистическая власть. Размножение масонских лож. Центра шное управление "мудрецов". "Иезуитизм". Масонство как руководящее все ш тайных общества. Значение пуйлешного успеха. Коллективизм. Жертва Калит масона. Падение престижа шконова и власти. Предшпротничество. Крошкость и ясность законов будущего царства. Шесущество начальства. Меры проина шлоупотребления властью. Жестокость наказания. Предшпный возраст для судей. Либерализм судей и власти. Мировые деньги. Абсолютная масонство. Право кассации Патриархальный "вид" власти будущего "правления". Общественное право. Право сильного как единственное право. Царь Ирашлыкский — патриарх штра.

* Теперь "тайны их" шеры раскрыты. ее раскрытые шпенные шпенет ниже

** Участие шресей в создании и распространении этого рода литературы и шесно.

* Продолжение. Начало в № 2 — 4.

** Происхождение этого "единого Бога" будет шпенетно ниже.

*** Но, разумеется — Галмуд

Когда, наконец, окончательно воцаримся при помощи государственных переворотов, всюду подготовленных к одному и тому же делу, после окончательного признания негодности всех существующих правительств (а до этого пройдет еще немало времени, может, и целая век), мы постыраемся, чтобы против нас уже не было заговорщиков. Для этого мы немилосердно казним всех, кто встретит наше воцарение оружием в руках. Всякое новое учреждение какого-либо тайного общества будет тоже наказано смертной казнью, и те из них, которые ныне существуют, нам известны и нам служат и служили, мы расскажем и выйдем в далекие от Европы континенты. Так мы поступим с теми *гоями из масонов, которые слишком много знают*; те же, которых мы почему-либо помилуем, будут оставаться в постоянном страхе перед высылкой. Нами будет издаан закон, по которому все бывшие участники тайных обществ подлежат изгнанию из Европы как центра нашего управления.

Решения нашего правительства будут окончательны и беспоспешными.

В гоевских обществах, в которых мы посеяли такие глубокие корни разлада и протестантизма, возможно подворить порядок только беспощадными мерами, доказывающими неукоснительную власть: нечего смотреть на падающие жертвы, приносимые для будущего блага. В достижениях блага, хотя бы путем жертвоприношения, заключена обязанность всякого правления, которое сознает, что не в прилипаниях только, но и в обязанностях состоит его существование. Главное дело для незыблемости правления — укрепление ореола могущества, а ореол этот достигается только величественной непоколебимостью власти, которая носила бы на себе признаки непркосновенности от мистических причин — от Божьего избрания. Таково было до последнего времени русское Самодержавие — единственный в мире серьезный враг нам, если не считать Папства. Вспомните пример того, как залитая кровью Италия не коснулась волоса с головы Силлы, который пролил эту кровь. Силла обоготворился своей мощью в глазах народа, хотя и истерзанного им, а мужественное его возвращение в Италию ставило его вне прикосновенности... Народ не касался того, кто гипнотизирует его своей храбростью и силою духа.

Пока же, до нашего воцарения, мы, напротив, создадим и размножим франкмасонские ложи во всех странах мира, втянем в них всех, могущих быть и существующих выдающихся деятелей, потому что в этих ложах будет главное

справочное место и влияющее средство. Все эти ложи мы централизуем под одно, одним нам известное, всем же остальным неведомое управление, которое состоит из наших мудрецов. Ложи будут иметь своего представителя, прикрывающего собою сказанное управление масонства, от которого будут исходить приказы и программа. В этих ложах мы завяжем узел всех революционных и либеральных элементов. Состав их будет состоять из всех слоев общества. Самые тайные политические замыслы будут нам известны и попадут под наше руководство в самый день их возникновения. В числе членов этих лож будут все почти агенты международной и национальной полиции*, так как ее служба для нас незаменима в том отношении, что полиция может не только по-своему распорядиться с непокорными, но и прикрывать наши деяния, создавать предлоги к неудовольствиям и т. д...

В тайные общества обыкновенно поступают всего охотнее аферисты, карьеристы и вообще люди, но большей частью легкомысленные, с которыми нам будет нетрудно нести дело и ими завладеть механизмом проектированной нами машины... Если этот мир замутится, то это будет означать, что нам нужно его замутить, чтобы разстроить слишком большую его солидарность. Если же среди него возникнет заговор, то во главе его станет не кто иной, как один из вернейших слуг наших. Естественно, что мы, а не кто другой, поведем масонские действия, ибо мы знаем, куда ведем, знаем конечную цель всякого действия, но же не ведают ничего, даже непосредственного результата: они задаются, обыкновенно, минутным расчетом удовлетворения самолюбия и неполноценным задуманным, не замечая также того, что самый замысел не принадлежит их инициативе, а нашему наведению на мысль...

Гои идут в ложи из любопытства или в надежде при их помощи пробраться к общественному пирогу, а некоторые для того, чтобы иметь возможность высказаться перед публикой свои несбыточные и беспочвенные мечтания: они жаждут эмоций успеха и рукоплесканий, на которые мы несчастье щедры. Мы затем и даем им этот успех, чтобы пользоваться отсюда рождающимся самообольщением, с которым люди незаметно воспринимали наши внушения, не остерегаясь их, в полной уверенности, что их непогрешимость выпускает свои мысли, а воспринять чужих уже не может... Вы не можете себе представить, как умнейших из гоев можно привести к бессознатель-

* "Азефонщина".

ной паничности, при условии самообольщения, и вместе с тем, как легко их обескуражить маленькой неудачей, хотя бы прекращением аплодисментов, и привести к рабскому повиновению ради обоснования успеха... *Насколько наши пренебрегают успехом, лишь бы провели свои планы, насколько гои готовы пожертвовать всякими планами, лишь бы получили успех.* Эта их психология значительно облегчает нам задачу их направления. Эти тигры по нуту имеют баранью душу, а в головах их ходит сквозной ветер. Мы посадили их на конька мечты о поглощении человеческой индивидуальности символической единичей коллективизма... Они еще не разобрались и не разберутся в той мысли, что этот конек есть явное нарушение главного закона природы, создавшей с самого сотворения мира единицу, не похожую на другие именно в целях индивидуальности...

Если мы могли привести их к такому безумному ослеплению, то не доказывает ли это с поразительной ясностью, до какой степени ум гоев человечески не развит по сравнению с нашим умом? Это то, что главным образом и гарантирует наш успех.

Насколько же были прозрачны наши древние мудрецы, когда говорили, что для достижения серьезной цели не следует останавливаться перед средствами и считать число жертв, приносимых ради этой цели... Мы не считали жертв из числа семени скота — гоев, хотя и пожертвовали многими из своих, позато и теперь уже дали им такое положение на земле, о котором они и мечтать не могли. Сравнительно незначительные жертвы из числа наших оберегли нашу народность от гибели.

Смерть есть неизбежный конец для всякого. Лучше этот конец приблизить к тем, кто мешает нашему делу, чем к нашим, к нам, создателям этого дела. *Мы казним масонов так, что никто, кроме братьев, об этом заподозрить не может, даже сами жертвы казни: все они умирают, когда это нужно, как бы от нормального заболевания...* Зная это, даже братья, в свою очередь, не смеют протестовать. Такими мерами мы вырвали из среды масонства самый корень протеста против наших распоряжений. Проповедуя гоем либерализм, мы в то же время держим свои народ и наших агентов в неукоснительном послушании.

Под нашим влиянием исполнение гоевских законов сократилось до минимума. Престиж закона подорван либеральными толкованиями, введенными нами в эту сферу. В важнейших политических и принципиальных делах и попросах судьи

решают, как мы им предпочитаем, идут даже в том свете, каким мы их облекаем для гоевских администраций, конечно, через поставных лиц, с которыми общего как бы не имеем, — газетным мнением и иными путями... Даже сенаторы и высшая администрация смело принимают наши советы. Чистый животный ум гоев не способен к анализу и наблюдению, а тем более к предвидению того, к чему может привести известная постановка вопроса.

В этой разнице способности мышления между гоеями и нашими можно ясно угадать печать избрания и человечности, и отличие от животного, инстинктивного ума гоев. Они зрят, но не предвидят и не изобретают (разве только материальные вещи). Из этого ясно, что сама природа предназначила нам руководить и править миром.

Когда наступит время нашего открытого правления, время проявлять его благотворность, мы прочтем все законодательства: наши законы будут кратки, ясны, несомлемы, без всяких толкований, так что их всякий будет в состоянии знать. Главная черта, которая будет в них проведена, — это послушание начальству, доведенное до традиционной степени. Тогда всякие злоупотребления исчезнут вследствие ответственности всех до единого перед высшей властью представителя власти. Злоупотребления же властью, лежащей ниже этой последней инстанции, будут так беспощадно наказываться, что у всякого отпадет охота экспериментировать свои силы. Мы будем неукоснительно следить за каждым действием администрации, от которой зависит ход государственной машины, ибо распушенность в ней порождает распушенность всюду: ни один случай незаконности или злоупотребления не останется без примерного наказания.

Укрытием, солидарное попустительство между служащими в администрации — все это зло исчезнет после первых же примеров сурового наказания. Ореол нашей власти требует целесообразных, т. е. жестоких наказаний за малейшее нарушение, ради личной выгоды, ее высшего престижа. Потерпевший, хотя бы и не в меру своей вины, будет как бы солдатом, падающим на административном поле на пользу Власти. Принципы и Закона, которые не допускают отступлений с общественной дороги на личную от самих же правящих общественной колесницей. Например: *наши судьи будут знать, что, желая похвастаться глубоким милосердием, они нарушают закон о правосудии, который создан для примерного наказания людей наказаниями за проступки, а не для выставки духовных качеств судьи...* Эти ка-

чества уместно показывать и частной жизни, а не на общественной почве, которая представляет собою воспитательную основу человеческой жизни.

Наш судебный персонал будет служить не более 55-летнего возраста, во-первых, потому, что старики уже не держатся предрассудков мнений, менее способны повиноваться пошлым распоряжениям, а во-вторых, потому, что это нам даст возможность такой мерой достигнуть гибкости перемещения персонала, который этим легче сойдет под нашим давлением: кто пожелает задержаться на своем месте, должен будет слепо повиноваться, чтобы заслужить это. Вообще же наши судьи будут выбираемы нами из среды только тех, которые твердо будут знать, что их роль карать и применять законы, а не мечтать о проявлении либерализма за счет государственного воспитательного плана, как это ныне воображают гонимые. Мера перемещения будет служить еще и к подрыву коллективной солидарности сослуживцев и всех принажит к интересам правительства, от которого будет зависеть их судьба. Молодое поколение судей будет воспитано во взглядах о недопустимости таких злоупотреблений, которые могли бы нарушить установленный порядок отношений наших подданных между собою.

Наше военное судьи творят поблажки всяким преступлениям, не имея представления о своем назначении, потому что теперешние правители при определении судей на должность не заботятся внушить им чувства юстиции и сознания дела, которое от них требуется. Как животное выпускает своих детей на добычу, так и гонимые дают своим подданным доходные места, не думая им разъяснить, на что это место создано. Оттого-то их правления и разрушаются собственными силами, через действия своей же администрации.

Почерпнем же и примере результатов этих действий еще один урок для своего правления.

Мы искореним либерализм на всех важных стратегических постах нашего управления, от которых зависит воспитание подчиненных нашему общему строю. На эти посты пойдут только те, которые будут воспитаны нами для административного управления. На возможное замечание, что отставка старых служащих будет дорого стоить, скажу, во-первых, что им придется предпринять частную службу наемной террасой, а во-вторых, замечу, что в наших руках будут сосредоточены все мирные деньги, следовательно, не нашему правительству бояться дорогостоящих.

Наш абсолютизм во всем будет последователен, а потому и в каждом своем постановлении наша великая воля будет уважаема и беспрекословно

но исполняема: она будет игнорировать всякий ропот, всякое недовольство, искореня всякое проявление их в действительности наказанием примерного свойства.

Мы упраздним кассационное право, которое перейдет в исключительное наше распоряжение — в ведение правящего, ибо мы не должны допустить возникновения мысли у народа, чтобы могло состояться неправильное решение нами поставленных судей. Если же что-либо подобное произойдет, то мы сами кассируем решение, по такому примерному наказанию судьи за непонимание своего долга и назначения, что эти случаи не повторятся... Повторю, что цель мы будем знать каждый шаг нашей администрации, за которой только и надо следить, чтобы народ был доволен нами, ибо он вправе требовать от нас хорошего правления и хорошего ставленника.

Наше правление будет иметь вид патриархальный, отеческой опеки со стороны нашего правителя. Народ пусть и подданные увидят в его лице отца, заботящегося о каждом по отдельности, о каждом взаимоотношении как подданных друг к другу, так и их к правителю. Тогда они настолько проникнутся мыслью, что им невозможно обходиться без этого попечения и руководства, если они желают жить в мире и спокойствии, что они признают самодержавие нашего правителя с благоговением, близким к *обожению*, особенно когда убедятся, что наши ставленники не заменяют его власть своею, а лишь слово исполняют его предписания. Они будут рады, что мы все урегулировали в их жизни, как это делают умные родители, которые хотят воспитывать своих детей и чувстве долга и послушания. Ведь народы по отношению к нашим нашей политике вечно несовершеннолетние дети, точно так же, как и их правления...

Как видите, я основываю наш деспотизм на праве и долге: *право вынуждать исполнение долга* есть прямая обязанность правительства, которое есть отец для своих подданных. Оно имеет право сильного для того, чтобы пользоваться им во благо направления человечества к природному определённому строю — послушанию. Все в мире находится в послушании, если не у людей, то у обстоятельств и у своей природы, во всяком случае у сильного. Так будем же мы этим сильнее и сильнее ради блага.

Мы обязаны не задумываясь жертвовать отдельными личностями, нарушителями установленного порядка, ибо в примерном наказании для нас лежит великая воспитательная задача.

Когда царь Израильский пойдет на свою свя-

щенную голову корону, поднесенную ему Европой, он сделается патриархом мира. Необходимые жертвы, им принесенные вследствие их целесообразности, никогда не достигнут числа жертв, принесенных в течение веков маньей величия — сорепиованием юдейских правительств.

Наш царь будет находиться в непрестанном общении с народом, говоря ему с трибуны речи, которые молва будет в тот же час разносить на весь мир.

ПРОТОКОЛ № 16-й

Обезвреживание университетов. Замена классицизма. Воспитание и звание. Реклама власти "правителя" в школах. Отмена свободного преподавания. Новые теории. Независимость мысли. Наглядное обучение.

С целью уничтожения всяких коллективных сил, кроме наших, мы обезвредим первую ступень коллективизма — университеты, перевоспитаем их в новом направлении. Их начальство и профессора будут подготавливаемы для своего дела подробными тайными программами действий, от которых они безнаказанно не отступят ни на йоту. Они будут назначаться с особой осторожностью и будут поставлены в полную зависимость от правительства.

Мы исключим из преподавания государственное право, как и все, что касается политического вопроса. Эти предметы будут преподаваться многим десяткам лиц, избранных по выдающимся способностям из числа посвященных. Университеты не должны выпускать из своих стен молодых людей, спящих планы конституции, как комедии и трагедии, занимаясь вопросами политики, в которых и опытно их никогда ничего не смыслили.

Плохо направленное ознакомление большого числа лиц с вопросами политики создает утопический и плохой подданный, как мы сами можете усмотреть на примерах всеобщего воспитания в этом направлении югов. Нам надо бы ввести в их воспитание все те начала, которые так блистательно надломляли их строю. Когда же мы будем у власти, то мы удалим всякие смущающие предметы из воспитания и сделаем из молодежи послушных детей начальства, любящих правящего, как опору и надежду на мир и покой.

К классицизму, как и всякое изучение древней истории, в которой более дурных, чем хороших примеров, мы заменим изучением программы будущего. Мы вычеркнем из памяти людей все факты прошлых веков, которые нам нежелательны, оставим только те, которые обрисовывают историю и юдейских правлений. Учение о прак-

тической жизни, об обязательном строе, об отношении людей друг к другу, об избежании дурных эгоистических примеров, которые сносят заразу зла, и другие подобные вопросы воспитательного характера будут стоять в первых номерах преподавательской программы, составленной по отдельному плану для каждого звания, ни под каким видом не обобщая преподавания. Такая постановка вопроса имеет особую важность.

Каждое общественное звание должно быть воспитано в строгих разграничениях, согласно назначению и труду. *Случайные гении всегда умели и сумеют проскользнуть в другие звания, но ради этой редкой случайности пропускать в чужие ряды бездарности, отнимая места от присущих этим рядам по рождению и занятию — совершенное безумие. Вы сами знаете, чем это кончилось для гоев, допустивших эту вопиющую бессмыслицу.*

Чтобы правящий крикливо засел в сердцах и умах своих подданных, надо во время его деятельности преподавать всему народу в школах и на площадях об его значении и деяниях, о всех его благоначинаниях.

Мы уничтожим всякое свободное преподавание. Учащиеся будут иметь право вместе с родными собираться, как в клуб, в учебные заведения: во время этих собраний, по праздничным, преподаватели будут читать якобы свободные лекции о вопросах человеческих отношений, о законах примера, о репрессалиях, рождающихся от бессознательных отношений, и наконец, о философии новых теорий, еще не явленных миру. Эти теории мы возведем в догмат веры, как переходную ступень к нашей вере. По окончании изложения нашей программы действий в настоящем и будущем я вам прочту основание этих теорий.

Словом, зная из многовекового опыта, что люди живут и руководятся идеями, что эти идеи всасываются людьми только при помощи воспитания, даваемого с одинаковым успехом всем возрастам, конечно, только различными приемами, мы поглотим и конфискуем в нашу пользу последние проблески независимости мысли, которую мы уже давно направляем на нужные нам предметы и идеи. Система обуздания мысли уже в действительности, в так называемой системе *наглядного обучения*, имеющей превратить гоев в немых, послушных животных, ожидающих наглядности, чтобы сообразить ее... Во Франции один из лучших наших агентов, буржуа, уже провозгласил новую программу наглядного воспитания.

ПРОТОКОЛ № 17-й

Адвокатура. Влияние святошества гоев. Свобода совести. Папский двор. Царь Иудейский, как патриарх-папа. Способы борьбы с су-

иствующей Церковью. Задачи современной прессы. Организация полиции. Добровольческая полиция. Шпионство по образцу кагального шпионажа. Злоупотребление властью.

Адвокатури создает людей холодных, жестоких, упорных, беспринципных, стапоящихся во всех случаях на безличную, чисто легальную почву. Они приучились все относить к выгоде защиты, а не к социальному благу ее результатов. Они обыкновенно не отказываются ни от какой защиты, помогают оправданию что бы то ни стало, придираясь к мелким заплатам юриспруденции: этим они деморализуют суд. Поэтому мы эту профессию поставим в узкие рамки, которые заключают ее в сферу исполнительного чиновничества. Адвокаты будут лишены наравне с судьями права общения с тяжущимися, получая дела только от суда, разбирая их по докладным запискам и документам, защищая своих клиентов после допроса их на суде по выяснившимся фактам. Они будут получать гонорар, не влияя на качество защиты. Это будут простые чокладчики дела и пользу правосудия в перелес прокурору, который будет докладчиком в пользу обвинения: это сократит судебный доклад. Таким образом, установится честная беспристрастная защита, вытекающая не из интереса, а из убеждения. Это, между прочим, устранит практикующиеся ныне подкулы гонимцев, их соглашение дать шпырьш деньги только того, кто платит...

Священничество госв мы уже озаботились дискредитировать и этим разорить их миссию, которая ныне могла бы очень мешать. С каждым днем его влияние на народы падает. Свобода совести провозглашена теперь всюду, следовательно, нас только годы отделяют от момента полного крушения христианской религии; с другими же религиями мы справимся еще легче, но об этом говорить преждевременно. Мы поставим клерикализм и клерикалов в такие узкие рамки, чтобы их влияние пошло обратно к сполу прежнему движению.

Когда придет время окончательно уничтожить папский двор, то палец от незримой руки укажет народам в сторону этого двора. Когда же народы бросятся туда, мы выступим как бы его защитниками, чтобы не допустить до сильных кровопусканий. Этой диверсией мы проберемся в самые его недра и уже не выйдем оттуда, пока не подточим всю силу этого места.

Царь Иудейский будет настоящим папою вселенной, патриархом интернациональной церкви.

Но, пока мы перевоспитаем юношество и повых переходим вехам, а затем и в нашей, мы не затронем открыто существующие церкви, а будем с ними бороться критикой, возбуждающей раскол...

Окончание следует

Вообще же наша современная пресса будет изобличать государственные дела, религии, неспособности госв, и все это в самых беспринципных выражениях, чтобы всячески унижить их, так, как это умеет делать только наше гениальное племя...

Наше царство будет апологией божка Вишну, в котором находится олицетворение его, — в наших руках будет по пружине социальной машины. Мы будем все видеть без помощи официальной полиции, которая в той форме ее прав, которую мы выработали для госв, мешает правительству видеть. При нашей программе *нельзя** подданных наших будет наблюдать за остальными из чувства долга, из принципа добровольной государственной службы. Тогда не будет постыдно быть шпионом и доносчиком, а похвально, но необоснованные доносы будут жестоко наказуемы, чтобы не развелось злоупотребление этим правом.

Наша агенты будут из числа как высшего, так и низшего общества, из среды веселящегося административного класса, издатели, типографы, книгопродавцы, приказчики, рабочие, кучера, лакеи и т. д. Эта бесправная, не уполномоченная на какое-либо самоуправство, а следовательно, безвластная полиция будет только свидетельствовать и докладывать, а проверки ее показаний и аресты будут зависеть от определенной группы контролеров по делам полиции, сами же аресты будут производить жандармский корпус и городская полиция. Не доносший о виденном и слышанном по вопросам политики тоже будет привлекаться к ответственности за укрывательство, если будет доказано, что он в этом виноват.

Подобно тому, как ныне наши братья под собственной ответственностью обязаны доносить кагалу на своих отступников или замеченных в чем-либо, противном кагалу, так в нашем всемирном царстве будет обязательно для всех наших подданных соблюдать долг государственной службы в этом направлении.

Таким образом искоренит злоупотребления властью, силой, подкупом — все то, что мы ввели нашими советами, теориями сверхчеловеческих прав в привычки госв... Но как же нам иначе было бы и добиться увеличения причин к беспорядкам среди администрации, как не этими путями?! В числе же этих путей один из важнейших — это агенты подпольного порядка, поставленные в возможность своей разнузданной деятельности проявлять и развешивать свои дурные наклонности — своеправие, своеволие и первую голову извечное чужество.

* Поразительное совпадение с третьим ангелом, отпавшим от Бога!.. И при такой-то системе воображать, что возможна устойчивость грядущего царства! Это ли не безумие дьявола, возманившего бороться с Богом?

Георгий Соловьев

ТОРЖИЩЕ ФАЛЬШИ

НЕВЕСЕЛЫЕ ЗАМЕТКИ О "ДЕМПРЕССЕ"

Им нужны великие потрясения,
нам нужна великая Россия.

П. А. Столыпин.

1. РЕАЛЬНОСТЬ БЕЗ ГРИМА

Наше общество нынче завязло в "неодемократизме". Твердо уверовав будто это единственный путь и универсальное средство защиты социально угнетенных слоев (а заодно и решение всех проблем!), мы и не чаем другого. Принимаем собственные заблуждения за высшее просветление.

Думаю, виной тому избыточная мечта о жизни хорошей, обещанной сладкоголосыми радикалами-популистами. (Надо-де только консерваторов прищипнуть, Союз распустить, ну и еще кое-что по мелочам, а на следующий день — рай без визиток и продуктовых карточек, национальных конфликтов и с Ельциным вместо солида.) Но вся беда в том, что одно дело вообразить и совсем другое — воплотить в реальность. Мы остаемся мечтателями, мало задумывающимися над возможностями и путями достижения желанной цели. Осуждать за эти мечты кощунственно: потерпелся наш народ под разными реформаторами-экспериментаторами немало и элементарно нормальную жизнь — заслужил. Но и бросаться в омут иллюзорного мира навязанных путей и ориентиров постыдно. Ибо в этом спектакле, разыгрываемом новыми "друзьями народа", мы все приглашены на роли послушных статистов, каждый шаг которых утвержден по сценарию.

Во многих изданиях, которые захлестнула волна "демократических" настроений, объективность освещения событий стала анахронизмом. Громко заявленная доктрина т. н. плюрализма мнений сильно дала крен на один бок и, по существу, подмешена провокационным маневром очернения всего того, что не вписывается в прокрустово ложе "новой демократии". Гласность же тоже приобрела какой-то выморочный

криминально-сексуальный окрас и свелась к паторамированию хроник преступлений и всяческих половых извращений от некрофилии до чуть ли не пропагандируемой сегодня однополой любви.

Все это, безусловно, пагнетает и без того искаженную обстановку в стране.

Для чего нашим "демократам" это, казалось бы, нужно? Ответ немудрен, а цель стара, как мир — дабы захватить власть. Сходу, через съезды и референдумы, законным, так сказать, путем не удалось. Тогда из пронафталинившего сулдука времен октябрьского переворота были извлечены приемы баррикадной войны (кампания дискредитации доверия к существующему госаппарату, организация различных митингов, забастовок, демонстраций протеста и т. д. и т. п.).

Причем наивным было бы считать, что делается это для облегчения жизни народа. Народ "демократам" нужен как штурмовой таран при взятии крепостей власти. А потом, по доброй традиции, будет не до народных нужд и давших ему обещаний — "мавр сделал свое дело, мавр может уйти". Кстати, если исходить из "неодемократического" постулата, что союзный госаппарат долгие годы "пьет кровь" народа, то трудно себе представить с какой энергией начали бы это делать изголодавшиеся в ожидании своего часа "новые народные правители"...

Клевета на демдвижение? Но отчего же — все нынешние "демократические" лидеры, по выражению политолога А. Ципко, родом из КПСС, имеют одну и ту же закуску. Ну а вымислять дело наживное...

Однако, разобравшись немного в сути целей "неодемократов", пернемся к рассмотрению их прессы и системы "запудривания мозгов", используемой ею.

стои и лесбиянок, а также для исполнения их рядов, прозаик Юрий Маркович Пятибип расквизил сначала на страницах "Мегаполис Экспресс", а потом в юмористической газетке "Яблоко" (ноябрь, 1990 год) о трагической судьбе П. И. Чайковского. Цель у Ю. М. Пятибипа была, конечно, благая — просветительская. "Меня удивило, что многие из опрошенных понятия не имели о нестандартной физиологии композитора", — пишет он и чуть ниже сочно повествует: "И еще раз Петр Ильич пытался обмануть природу: он женился на Антонине Ивановне Миллюковой, инфоманке и авантюристке, юрко прикинувшейся музыкантшей и его страстной поклонницей. На редкость удачный выбор! В первую же брачную ночь его постиг нервный припадок, он кричал, трясся, плакал, терял сознание..." Какая насыщенная палитра деталей, такое впечатление, что Юрий Маркович в сей исторический момент рядом со спечкой стоял или по меньшей мере знает о подобных переживаниях не понаслышке — вот что значит художник слова! А посему, спасибо вам, товарищ член Союза писателей, что в полупортретической газетке опубликоваться не побрезговали, байку о "нестандартной физиологии" Петра Ильича нам пещи.

Вот так, порождая деструктивную волну в обществе и одновременно пытаясь познать политический рейтинг своих хозяев, усердствует депресса.

Генерь, думаю, пришло время задержаться на "демократической" журналистике Кубани. Наряду с общей для всех "демократов" направленностью, здесь есть своя местная специфика, на которой не безинтересно остановиться.

"Газеты — это единственная продукция, на который нет дефицита", — пишет в региональной газете "Северный Кавказ" Т. Василевская, недавно расставшаяся из-за "демократических" устремлений с газетой "Советская Кубань". С этим наблюдением журналистки трудно не согласиться. Газет на Кубани издают немало, и вот в этом информационном море важно научиться отличать истинного защитника народных интересов и культуры от "демократического" профанатора, который залечет нас к идеологическому водовороту и потом с удовольствием будет наблюдать как мы тонем в нем.

Гражданскими рупорами кубанской журналистики считаются газеты "Советская Кубань" и "Комсомолец Кубани". Первая находится после недавней тяжелой болезни псевдодемократизма, куда ее свергла бывший главный редактор, сотоварищи. Теперь у "Советской Кубани" новый рулевой — и курс ее значительно выровнялся: исчезло избыточное полубульварных материалов, зачастую состряпанных по рецептам "Демосина" или Н. Травкина. Но газету по старой памяти еще заносит — то рекламу газеты "Карт-бланш" с домыслами Роя Медведева о смерти

Ю. В. Андропова напечатает, то репортажами о ПЛЮ, полтергейсте и прочей чертовщине побалует, то еще чем-нибудь подобным развлечет. Так что тут еще предстоит решить, чего больше хочется: то ли серьезную газету делать, то ли народ по переживаниям пугать.

Зато проблема выбора не стоит перед краевой молодежкой "Комсомолец Кубани". Меняются главы, ды (предшественник после этого ударился в собственную коммерцию — выпускает частную газету "Карт-бланш"), а газета все больше становится похожей на бульварный листок, да еще с псевдодемократическим душком.

В начале февраля текущего года редакция краевой молодежки пожаловалась своим читателям на нехватку бумаги, из-за чего вместо пяти обычных газет некоторое время будет выходить лишь три "шестиполоски"... Проблемы нехватки бумаги нам всем глубоко понятны (пот только почему-то у "демократической" прессы перебор с бумагой временные, а у остальных хронический). Ну, да это другой вопрос.

Что же несет своим читателям "Комсомолец Кубани" и поток чего временно был вынужден сузить из-за нехватки бумаги?

В номере от 6.02.91 значительное место первой полосы занимает поздравление Уганде, кому? Не угадаете — Рейгану. "Сегодня у 40-го президента США — день рождения", — сообщает газета. — "Уважаемый господин Рейган, мы поздравляем Вас с 80-летним юбилеем. Желаем Вам сибирского здоровья, успехов в труде и счастья в личной жизни, или, как говорят у нас на родине, best wishes!" Так вот по-юмашинскому поздравляют бывшего президента США комсомольцы Кубани. У меня вообще сложилось впечатление, что редакцию краевой молодежки (а может ее главного редактора Ю. Зайцева) связывают какие-то неформальные отношения с американскими президентами и их семьями. Иначе чем объяснить, что, отразив прошедший полувековой юбилей в самой Америке юбилей Рейгана, газета на этом не остановилась и 16 февраля отдала и с ю четвертую полосу фотографией Барбары Буш в различных ракурсах, среди которых затерялась небольшая дифирамбически-биографическая статья о вышеупомянутой особе Манкла Маккуина (это должно быть новый корреспондент "Комсомольца Кубани").

Вообще со смелой главными редакторами "КК" меняет практику подачи материалов лишь в визуальном плане: при Н. Семенове это была просто обычная, тяготеющая к бульварной прессе, газета. Ю. Зайцев оказался новатором — любителем крупномасштабных иллюстраций при минимуме текста (все это, к слову, при жалобах на нехватку бумаги). Так к открытию Краснодаре литовской выставки эротической фотографии красивая молодежная газета отдала всю первую страницу по мере от 14 февраля фотографии обнаженной де-

вицы. Тут же, как подтверждение тезиса "слов нет — одни эмоции", несколько строк корреспондента газеты Ал. Воскобойникова: "Красота какая! Зайдешь на эту выставку — и все тревоги о положении литовцев мигом улетучиваются. Да разве могут делать подобные снимки люди, вызверившиеся в межнациональной борьбе! Взгляните на эту фотографию. Не верится, чтобы такая симпатичная девушка думала лишь о том, будет ли Литва действительно независимой республикой или не будет. Скорее всего она ни о чем не думает". Видите как легко? Посмотрел на обнаженную фотомодель — и ушли глупые мысли... Все гениальное, поистине, просто. Завершается этот опус ерническим соизволением автора: "Ханжам разрешаем этот снимок вырезать из газеты и ежечь. Можно без свидетелей".

Спасибо. Мы уж лучше его вырежем и будем ездить с ним по нашим республикам с миротворческой миссией. Авось кто "охладеет" по нашему примеру.

Поймал себя на мысли — а не излишне ли я пристрастен к краевой молодежке? Но нет, одно дело, если бы эти ребята читали то, что они пишут друг другу, негромко и при тусклом свете керосиновой лампы, но они же тиражируют эти опусы в многих тысячах экземпляров, одурманивая своих не очень взрослых читателей.

Вот только одна иллюстрация, взятая наугад из номера газеты за 9.02.91 г.

Это — социопатоз корреспондента газеты М. Кибальника, называющийся "Утро 9 февраля 1993". Автор перелинял эпизоды бестселлера Кабакова "Невозвращенец" на кубанский манер и решил, вероятно, что это и называется журналистикой: "Проснувшись я как всегда в шесть, но не по будильнику, а от сухого треска "дегтярева", который с крыши университета бил куда-то в сторону Дубинки /.../ Около секе-клуба "Болгария" (раньше был кинотеатром) пришлось полчаса провалиться в снег: человек пятнадцать — то ли адыты, то ли линейные казаки — прямо на морозе обыскивали запоздавших клиентов "Болгарии"... Остаётся уповать лишь на то, что корреспондент "Комсомольца Кубани" не столь силен в провидении событий, как в журналистике.

Есть и еще одна газета, без которой разговор о "демократической" прессе Кубани будет неполон. Ежедневник "Юг". Учредитель, главный редактор и одновременно основной автор его Ю. В. Зенюк, человек, безусловно, более подкованный в "демократическом" толковании жизненных коллизий, нежели его юные собратья из "Комсомольца Кубани". Так, например, в первом же номере своего еженедельника он умудрился оплывать сразу черного секретаря

крайкома КПСС А. Маслова, назвав его "котом, вылезающим из мешка" и экстремистом-провокатором, а потом — председателя Краснодарского краевого Совета народных депутатов Н. Кондратенко, заклеив того по контрасту с сутью — "агентом сионизма".

Дальше — больше. Весь "демократический набор" налицо: от укусов Ленина до посягательства нынешней "коммунистической диктатуры", то есть того, что уже давным давно отыграно и, как "бородатый" анекдот, вызывает лишь зевоту.

Но и это — полбеды. Пикантность в другом. Если бы на газетных страницах "Юга" клокотали праведным пением битые-перебитые режимом, — это было бы понятно. Но бошуют — примитивные антикоммунисты — в совсем недалеком прошлом бывшие пламенными партийцами, отчаянными комсомольцами или соборами официозного АПН (как Ю. В. Зенюк). Не столько ратуя за идею, сколько стремясь по-мелочному, втихую нахапать в свой, отдельный карман морально-ного капитала.

Катастрофа страны, почти лишившая ее жизнеспособности и перепахавшая судьбы и многолетние заслуги перед Родиной простого люда, легко сведена к тому, что во всем виноваты "коммунисты"; а потому Е., вышедший из партии, лучше и честнее Г., который в ней остался, и вообще — новые политики всегда лучше старых (монархисты хуже эсеров, эсеры хуже большевиков, большевики хуже демократов, а демократы...). Раньше такую "логику" называли софистикой и соответственно к ней относились.

Мы внимаем этим в ударном порядке перекопанным прорицателям, они же никакой правдивой ответственности за наши искаленные души не пещут.

Нанесен последний штрих, портрет "депрессы" в общих чертах закончен. Мраченький получился, ну да это уж не вина автора. Какой есть. Однако не хочется заканчивать на минорной ноте, поэтому еще несколько строк.

На пересечении Краснодарского "арбата" привычная фигура продавца "демократической" прессы. Изнуренное политическими страстями лицо, картаво-бубнящий голос:

— Покупайте газеты "Меньшевик", "Балтийское время", "Радиодиджест". Темы дня — "Борис Ельцин не едётся", "Десять любовниц Горбачева".

Но никто не покупает. К людям приходит отрезвление от "демократического" дурмана. И слава Богу...

Главный редактор В. А. КАНАШКИН

Редакционная коллегия: БОНДАРЧУК С. Ф., ГОРЕЛОВ П. Г., ЗАХАРЧЕНКО В. Г., ЗНАМЕНСКИЙ А. Д., КНЯЗЕВ А. А., КУЗНЕЦОВ Ю. П., ЛАСТОВКИН Ю. В. (зам. главного редактора), ЛИЧУТИН В. В., ПРИДИУС П. Е., СОЛОВЬЕВ Г. М. (ответственный секретарь)

Технический редактор ГЛОВА О. В.
Корректор РУБЦОВА В. А.

Сдано в набор 22. 05. 91. Подписано в печать 17. 07. 91 г. Формат бумаги 70х100/16. Бумага типографская № 2. Уч.-изд. л. 11,57. Тираж 60 000. Заказ 479. Адрес редакции: 350650, Краснодар, а/я 69, ул. Коммунаров, 59. Телефоны: главный редактор — 52-29-44, заместитель главного редактора, секретариат — 59-22-60. Типография издательства "Советская Кубань", 350680, Краснодар, ул. Шаумяна, 106.

Редакция принимает только первые экземпляры не опубликованных ранее рукописей, отпечатанных на машинке.

Рукописи объемом меньше печатного листа не возвращаются.

Рукописи, присылаемые членам редколлегии, к рассмотрению не принимаются.

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЧИТАЙТЕ:

И. СОЛЮНЕВИЧ. Россия и конгломерат
Н. КРАСНОВ. От Двуглавого Орла к Красному Знамени
Н. СЕЛЯНИНОВ. Тайная сила масонства
А.Н. ИВАНОВ/СКУРАТОВ/. Рокошадень России/9 января 1905 года, или Заговор слепца/
И. ИЛЬИН. Государственный смысл Белой армии
С. БУЛГАКОВ. Перкош

Подписка принимается без ограничения во всех отделениях связи и агентствах Союзпечати с любого месяца

Индекс 73607

Розничная продажа за пределами Краснодарского края ограничена.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Журнал "Кубань", орган Союза писателей России, выходит с января 1991 года.

Для желающих подписаться на него сообщаем: Индекс 73607, подписная цена на 6 месяцев — 7 руб. 20 коп., на 3 месяца — 3 руб. 60 коп.

Стоимость журнала в розничной торговле — 1 руб. 50 коп.

Тем, кто хотел бы приобрести предыдущие номера журнала за 1991 г., советуем обратиться в редакцию по адресу:

350650, Краснодар, а/я 69, ул. Коммунаров, 59, Арустамян Инне Юрьевне.

РЕДАКЦИЯ